

# Немеркнущая звезда

Часть вторая

18+

А. С. Стрекалов

# **Александр Сергеевич Стрекалов**

## **Немеркнущая звезда. Часть вторая**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25580464](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25580464)*

*SelfPub; 2020*

*ISBN 978-5-532-12438-7*

### **Аннотация**

Судьба молодого советского учёного, попавшего во второй половине 1980-х годов под каток “перестройки” и не пожелавшего вместе с товарищами по Университету навсегда покидать страну; наоборот – грудью вставшего на защиту Родины от марионеточной кремлёвской власти с Б.Н.Ельциным во главе и проигравшего схватку осенью 1993 года. Со всеми вытекающими отсюда лично для него печальными последствиями... На обложке: картина И.Н.Крамского "Лунная ночь" 1880 год.

# Содержание

Глава 5	5
1	6
2	12
3	18
4	26
5	36
6	42
7	46
8	51
9	56
10	62
11	67
12	76
13	82
14	97
15	105
16	111
17	119
18	125
19	128
20	133
21	136
22	142



## Глава 5

*«Иди, иди за мной – покорной и верною моей рабой.*

*Я на сверкнувший гребень горный взлечу уверенно с тобой.*

*Я пронесу тебя над бездной, её бездонностью дразня.*

*Твой будет ужас бесполезный – лишь вдохновеньем для  
меня.*

*Я от дождя эфирной пыли и от круженья охраню*

*Всей силой мышц и сенью крылий, и, вознося, не уроню.*

*И на горах, в сверканьи белом, на незапятнанном лугу,*

*Божественно-прекрасным телом тебя я странно обо-  
жгу.*

*Ты знаешь ли, какая малость та человеческая ложь,*

*Та грустная земная жалость, что дикой страстью ты  
зовёшь?...»*

Александр Блок

Август на родине Вадика, как и первые десять-двенадцать дней сентября редко когда бывают пасмурными: юг Тульской области всё же, граница с Липецком и Орлом, пред-Черноземье и место, где северная святая Русь встречается с Русью южной; болотно-суглинистая Москва – со степью. Тепло и сухо на улице в их местах в августе и сентябре, безветренно, солнечно, тихо. Хорошо в такую погоду детишкам по магазинам бегать – тетрадки с учебниками закупать, к началу учебного года готовиться; хорошо в сентябре в новой форме утром на уроки ходить, собою и природою любоваться...

Таким вот погожим перво-сентябрьским утром десятиклассник Стеблов в сопровождении старого друга, Вовки Лапина, с московским кожаным портфелем в руках, в московском же модном костюме и шагал в свою прежнюю четвёртую школу, в 10 “А” класс. Там он учился когда-то долгие восемь лет, и там же, в мае ещё, после посещения поликлиники и памятных разговоров с доктором сначала, а потом и с отцом, он твёрдо вознамерился заканчивать десятилетку, аттестат зрелости получать, прощаться с детством и отрочеством.

Он волновался как первоклашка, был бледен, угрюм, молчалив – и понять его было можно. Целый год он отсутствовал

в школе, которую не забыл в столице и которую по-прежнему считал родной (в отличие от чужого и холодного интерната), ровно год не видел бывших товарищей и учителей, не встречался и не общался с ними за неимением времени, потерял со многими связь, вычеркнул их из жизни. А ведь они хорошо относились к нему – и одноклассники, и педагоги, – и он к ним ко всем хорошо относился. Ко многим, во всяком случае. Но год назад, по дурости ли, в горячке ли, взял да и бросил их – без объяснения и прощаний, без жалости минимальной, – и теперь вот шёл и стыдился этого, переживал. Как они встретят его, беглеца? что скажут при встрече, оценят как его столь ранние по жизни метания и кульбиты?...

Но волновался он, как оказалось, напрасно, потому как встретили его в школе очень даже приветливо – и товарищи прежние, задушевные, и учителя, среди которых были и новые. Они с любопытством, с почтением внутренним разглядывали его в коридоре и на уроках: бывший москвич, как-никак, будет у них учиться – а это что-то да значит. Это бездарям и бездельникам не рады нигде. А людей с огоньком в глазах и в душе в любом месте тепло принимают.

Учительница химии, например, которую Вадик не знал до этого, которую к ним год назад прикрепили – органическую химию преподавать, – на первом же занятии третьего сентября спросила его с любопытством: откуда он к ним приехал? не из посёлка ли, откуда к ним прибывали все новички?

И когда слышала, что из Москвы, – то только головой тряхнула почтительно, и сразу же его задачку у доски попросила решить, сложную, на пропорции: чтобы, значит, в его знаниях и способностях убедиться. А заодно и высокий статус Москвы как интеллектуального центра страны лишний раз подтвердить, оценить уровень подготовки университетской спецшколы.

И когда Вадик ту её задачку решил за минуту, весь свой имевшийся интеллект в кулачок собрав, всю душевную силу и волю, – она, не скрывая восторга, сказала:

«Ну, слава Богу! В школе появился лидер, который покажет всем, как учиться надо, который отличников наших встряхнёт».

После чего поставила ему пятёрку в журнал и в дневник, и посадила на место. И потом уже вызывала его только в редкие дни к доске – когда вопросы сложные попадались или комиссия в классе присутствовала, и нужно было учительнице свой 10 “А” во всей красоте показать, во всём блеске умственном, образовательном.

Сама, вероятно, того не желая и не сознавая, преподавательница химии тогда прилюдно высказала-озвучила то, что сразу же почувствовали в классе многие с началом последнего учебного года. И в первую очередь – сам Вадик, конечно же, который лучше и острее других понял и почувствовал крайне-важную для себя вещь, можно даже сказать – архиважную, что всё лето подспудно жила в нём, бодри-



ла, пьянила и мобилизовывала, на учёбу самым серьёзным и решительным образом настраивала. Переступая порог бывшей школы, по вестибюлю, раздевалке и коридорам её возбуждённо шагая и ловя на себе со всех сторон удивлённые взгляды школьников, одноклассников и малышей, он тогда твёрдо и бесповоротно решил для себя главное. Что теперь он, вчерашний москвич-колмогоровец, вернувшийся на родину добровольно, на один только год всего, просто обязан задавать в своём классе и школе тон. По естественным дисциплинам – в особенности.

По-другому, впрочем, и быть не могло: поступление и учёба в первой школе страны разве ж бесследно проходят?... А он проучился там целый год, – он не был случайным в Москве человеком. И шло там у него поначалу всё хорошо, и работал он сутками как одержимый; и, главное, столько нового за год узнал, сколько никогда не узнал бы дома...

К тому же, в интернате он ежедневно виделся, дружил и общался с такими людьми – как преподавателями, так и воспитанниками, – которых не видывали и не слыхивали в захолустном их городишке и за сотню лет. Один Колмогоров Андрей Николаевич чего стоит! – известный на весь мир академик, лекции которого Стеблов слушал, с которым, осмелившись, даже говорил один раз: про книжки редкие в коридоре его дотошно расспрашивал, про учебники. А Башлыков Юрий Иванович, а Дерябкина Галя!

Спору нет: он покинул Москву, вынужденно оставил

спецшколу. Но не потому, что сдался, что его попросили оттуда как самого неспособного и недостойного: ничего похожего не произошло даже и близко. Сам-то он про это хорошо знал, и этого было достаточно для самоуспокоения, для комфорта... Из интерната вообще, как он понял, не отчисляли никого и никогда, даже и откровенных бездарей и прохиндеев, которые туда иногда залетали по случаю и потом, регулярно выплачивая школе Колмогорова деньги за обучение, содержа там всех, прекрасно себя в интернате чувствовали.

Он же вернулся домой по одной-единственной причине – и мог любому про то без запинки сказать, на чём угодно присягнуть и поклясться, – что посчитал интернатовскую образовательную программу через чур запутанной и бессистемной, абсолютно неприемлемой для себя лично в качестве надёжного подспорья на ближайшее будущее, главной целью которого были вступительные экзамены на мехмат, успешная их сдача; посчитал, наконец, – и их местный врач-невропатолог помог ему в этом решении, – что для успешного поступления в МГУ через год ему будет выгоднее во сто крат заканчивать учёбу дома, где и условия подготовки будут несравнимо лучше, и где сам климат, сама атмосфера домашняя помогут ему: укрепят, успокоят, здоровьем и силой наполнят.

Да, он покинул Москву, временно вернулся домой, – но зато целую сумку книг оттуда привёз с задачами и программами с прошлых вступительных университетских экзаме-

нов. Он будет сидеть теперь и старательно и спокойно изучать и решать их все в тишине и уюте – по той же схеме, по сути, и в таком же точно режиме, в каком учился когда-то в ВЗМШ. Под опекой родительской и подпиткой ему это будет делать гораздо удобнее и комфортнее: Гордиевский с Мишулиным ему здесь уже не нужны.

А интернат – что ж, пусть себе стоит, работает и процветает дальше. Успехов ему, как в таких случаях принято говорить, низкий поклон и сердечное за всё спасибо. Для него интернат уже тем был хорош – коли по совести про это специальное учебное заведение начать судить, без прежней агрессии и усталой злости, – что к Москве его ещё ближе придвинул, Университет ему, зачарованному, во всей красоте показал. Его *Главное здание* невиданной красоты, в первую очередь, его манеж и тренера Башлыкова, которыми Стеблов уже бредил, без которых жизни не представлял и только лишь там себя в недалёком будущем видел. Он непременно должен будет туда поступить, всенепременно! А иначе, зачем интернат был и нужен?!...

Химию в десятом классе Вадик прилично знал и учил, с уважением к ней относился. Однако же, своё безусловное интеллектуальное лидерство после московского возвращения доказывал всё же не там, а в любимой математике, которую преподавала им всё та же Лагутина Нина Гавриловна – бессменный их в течение шести лет педагог и руководитель класса.

И, надо сказать, ему здесь вдвойне повезло – доказывать и утверждаться, – ибо именно в этот год, год его возвращения, в образовательную программу десятиклассников всей страны высокие государственные мужи из министерства образования решили начать внедрять элементы *математического анализа*. А именно: определение и нахождение пределов числовых и функциональных последовательностей, вычисление производных простейших алгебраических и тригонометрических функций, и даже и некоторые интегралы учиться высчитывать, опять же простейшие, – внедрять всё то, одним словом, что так неистово штудировал Вадик весь прошлый год, на чём надорвался и обломал зубы.

Для введения подобного новшества учителей России, преподававших математику в старших классах, всех поголовно направили летом в областные институты усовершенствования на переподготовку, где командированные универси-

тетские преподаватели читали им полтора месяца кряду по этим вопросам лекции. Разумеется, не все педагоги (у доброй половины которых и высшего образования-то не было) как следует поняли и усвоили нововведения, не все возвратились в школы хорошо подготовленными и просветлёнными. Первые уроки, поэтому, стали для многих из них серьёзным, нешуточным испытанием: тяжело было объяснять другим людям то, в чём ты сам с горем пополам разбираешься...

Не стала здесь исключением и Лагутина, чей возраст далеко за сорок перевалил и которая хотя и закончила ленинградский уважаемый пединститут, но про пределы и про анализ, похоже, там если и слышала, то краем уха. Да и не нужны они были ей, по правде сказать, – пределы те злополучные, производные и интегралы, – равно как и всем другим педагогам, школьным коллегам ее. Им бы после ужасной кровавой войны основы алгебры и геометрии детишкам как следует преподать – лишь в этом они свою первоочередную задачу учителя видели.

Выйдя поэтому первого сентября к доске – давать классическое определение предела числовой последовательности, – она, дилетантка фактическая, запуталась сразу же, с первых слов, задёргалась, замерла у доски: учила-учила дома, да так и не доучила, видимо. После чего вернулась к столу растерянно, в конспекты нервно полезла и принялась почти судорожно те конспекты листать, чем лёгкий шумок в классе

вызвала вперемешку с усмешками, что от парней ядовитых шли. «Во-о-о даёт наша математичка! – злорадно шептались они. – Сама ни хрена не знает, а объяснять лезет».

“Математичка” же их женщиной совсем неглупой была – понимала, что смотрится недостойно, листая перед детьми тетрадь, за что сама же их с пятого класса ругала и двойки жирные ставила, – но поделать с таким непотребством ничегошеньки не могла. Язык *кванторов*, на котором данное определение излагалось, стал для неё, бедняги, подлинным бедствием, настоящей мукой земной, непостижимой и жуткой головоломкой.

*«Число  $A$  называется пределом числовой последовательности  $\{X_n\}$ , – найдя, наконец, в тетради нужное определение и быстренько пробежав его глазами, вроде бы вспомнив его, начала она выписывать на доске диковинные для всех и для неё самой математические знаки, – если для любого  $\delta...$  нет, извините, если для любого  $\varepsilon > 0...$  или всё ж  $\delta?...$ »*

Нина Гавриловна опять замерла, задумалась и покраснела, вспоминая коварное определение. Им его московский лектор на курсах несколько дней разжёвывал и объяснял, и оно казалось простым и ясным тогда, – но теперь оно почему-то напрочь из её головы вылетело... Постояв в задумчивости с минуту, поморщившись и губы накрашенные покусав, она опять полезла в конспект – за помощью.

*«...Нет, всё-таки правильно я вам сказала, – просветлённая, возвращалась она к доске, быстро стирала там грече-*

скую букву **δ** и на её место выписывала греческую букву **ε**, – если для любого  $\varepsilon > 0$  существует такой номер **n**-малое... нет, неправильно, **N**-большое... или **n**-малое, Господи?» – снова задумывалась она, краснела, нервничала, суежилась...

Когда она совсем раскисла и обессилила у доски и готова была, как кажется, уже даже расплакаться, Вадик, жалея её и класс, поднял высоко вверх руку.

– Нина Гавриловна, – сказал он тогда твёрдым голосом, – а можно я расскажу всем данное определение? Я знаю.

Получив разрешение на ответ, он выбежал из-за парты лихо, схватил в руки мел и принялся торопливо выписывать на доске заученную ещё год назад формулировку, которую сам очень долго не мог понять, которая тяжело до него доходила. Но зато теперь она, по прошествии года, от его зубов так и отскакивала.

– Число **A** называется пределом числовой последовательности  $\{X_n\}$ , – писал и рассказывал он, в точности уподобляясь учителю, – если для любого  $\varepsilon > 0$  существует такое натуральное число **N**, что для всех номеров  $n > N$  абсолютная величина разности  $(X_n - A)$  будет меньше этого, наперёд заданного,  $\varepsilon$ .

Когда определение было написано и всей своей изощрённой мудростью красовалось перед изумлённым 10 “А”, Вадик обернулся лицом к одноклассникам, не обращая уже внимания на стоявшую неподалёку учительницу, предельно

растерянную и обескураженную, ловившую каждое его слово, каждый звук.

– Что означает этот предел **A**? для чего он нужен? – спросил он с улыбкой у всех, и тут же сам и ответил на риторический свой вопрос. – Он означает, что числовая последовательность  $\{X_n\}$  при возрастании своих номеров неуклонно стремится к этому пределу и в бесконечности почти сливается с ним; что какую бы окрестность, пусть даже самую что ни на есть малюсенькую, мы ни взяли вокруг этой точки, точки **A**, всё равно в ней сыщется бесконечно-большое число членов данной последовательности.

– ...А теперь поясню главное: для чего он нужен, этот предел, и в чём состоит, так сказать, прикладное значение его, – переводя дух, продолжил он далее говорить, перед классом познаниями красуясь. – Да хотя бы в том уже, что переход от бесконечных последовательностей – числовых ли, функциональных, не важно, – к их конечным пределам очень помогает в математике отыскивать производные и интегралы различных функций. А это, в свою очередь, помогает находить скорости изменения каких-либо природных процессов, скорости изменения скоростей, ускорение то есть; определять площади и объёмы, ограниченные самыми замысловатыми кривыми, центры тяжести и центры масс различных многомерных фигур и многое-многое другое.

– А это, как вы понимаете, уже конкретная практическая польза, польза всем. И не случайно создание *дифференци-*



*ального и интегрального исчисления* на рубеже XVII–XVIII веков стало настоящей революцией в естествознании, открыло новую эру в нём; в астрономии и механике – в первую очередь... Всё, – сказал, улыбаясь, Вадик, довольный своим выступлением, особенно – концом его; после чего, уже не спрашивая разрешения у оторопевшей учительницы, он направился на своё место, унося в душе ощущение тихой радости, что с гордостью была перемешена, со светом солнечным и теплом, что сквозь распахнутые настежь окна в класс и в детские души сквозили.

Нет, не зря он из последних сил вгрызался ежевечерне в Шилова с Фихтенгольцем в Москве. Осталось кое-что в голове – и прилично осталось...

Разобравшись с теорией кое-как, в самых общих чертах и понятиях что называется, 10“А” после этого за задачи принялся, за практику. И опять Стеблов, выходя к доске, поражал одноклассников эрудицией, приводил их всех в неизменный восторг вперемешку с недоумением, завистью.

И подобного рода картины в их классе наблюдались потом весь год: при объяснении и закреплении материала, касавшегося пределов числовых и функциональных последовательностей, при изучении производных и интегралов – самых простых, разумеется, и тривиальных. Всегда, как только объявлялась новая по началам анализа тема, Вадик активно участвовал в обсуждении, помогая учительнице по мере сил добытыми в спецшколе знаниями.

Да и на уроках алгебры с геометрией, где Лагутиной помощь Стеблова не требовалась, где она и сама была докой, он не сидел, сложа руки, и безликим статистом не был. Активное его участие в этих предметах сосредоточивалось, главным образом, на решении сложных задач, которые оказывались не под силу классу, а порой – и самой учительнице, женщине пожилой и разумом уже не скорой, и которые он постоянно решал у доски, сделавшись в 10 “А” этаким штатной палочкой-выручалочкой.

Математика, таким образом, стала для Вадика развлече-

нием с первого дня, которое ему страшно нравилось, где он отдыхал душой. Учебники школьные он не читал ввиду их полной для него бесполезности, не делал дома заданий, — он выработал ещё на каникулах свою собственную образовательную программу, которой неукоснительно следовал.

Из Москвы — и в этом была ещё одна положительная роль интерната, о которой уже упоминалось вскользь! — он привёз целую кипу пособий для поступления на мехмат. Их-то он и задался целью все изучить до последней странички. Он приносил их по очереди на уроки Лагутиной, клал, не стесняясь, перед собой на парту, а сидел он перед её столом, и начинал изучать их, ни от кого не таясь и не обращая на класс внимания.

И учительница не мешала ему, замечаний и выговоров никогда не делала — избави Бог! Она даже и контрольные, с середины сентября начиная, позволила ему не решать — потому как нечего было ей у него проверять и контролировать...

С её контрольными у них тогда вот что произошло: история произошла прямо-таки комическая.

Заходит Нина Гавриловна однажды в класс в десятых числах сентября и объявляет всем, что сейчас состоится, дескать, в 10“А” контрольная по анализу. Заявляет, что на ней она хочет проверить, как начала анализа её подопечным даются, усваиваются как. Просит убрать со столов все учебники, естественно, оставить только тетради; и начинает потом

выписывать на доске как обычно два варианта, ещё с вечера приготовленные.

И пока она неспешно писала *второй*, Вадик, сидевший на первом ряду, решил *первый*. И как только она положила мел и возвратилась к столу, он поднялся из-за парты и вручил ей свою огромную, на сто страничек, тетрадь удвоенного формата, купленную ещё в Москве за 90 копеек. Её-то он под математику как раз и решил использовать дома, туда и были занесены решения.

– Что, сделал уже?! – изумлённо вытаращилась Лагутина, не успевшая ещё даже мел с себя отряхнуть.

– Да, сделал, – уверенно ответил он, вопросительно на неё поглядывая: ожидая, что она ему далее делать велит.

– ... Ну-у-у... не знаю... делай тогда другой вариант, – подумав, посоветовала она.

– А зачем? – пожал Вадик плечами. – Там все задачи такие же.

– ... Ну тогда иди домой – коли тебе в классе делать нечего, полушутя-полусерьёзно сказала учительница, беря в руки тетрадь Стеблова, листая её.

Вадик, не раздумывая, взял портфель и вышел из класса...

На другой день Лагутина вернула ему тетрадь на уроке, где стояла отличная оценка. Возвращая её, она пожаловалась, опять-таки – в шутку, что зря, мол, только таскала её

домой – руки себе оттягивала. Улыбнулась и заявила: что там, мол, ей проверять нечего – там всё отлично.

«А Вы и не оттягивайте, – заметил ей кто-то из остроловов-учеников, – Вы сразу ему, без проверки, пятёрки ставьте».

Озорная реплика та уже через неделю материализовалась и воплотилась в жизнь, стала для Стеблова правилом, нормой учёбы. И для него, и для преподавательницы.

Через неделю у них была контрольная по геометрии, где всё повторилось в 10 “А” с точностью. Пока неторопливая Нина Гавриловна выписывала на доске второй вариант задач, Вадик быстро решил первый. После чего отдал учительнице свою ужасающих размеров тетрадь в клеёнчатой толстой обложке, которая не влезала в сумку Лагутиной, рвала там внутреннюю обшивку, – отдал, поднялся уже без команды и пошёл отдыхать в коридор, слыша за своею спиной восторженные возгласы одноклассников...

А на утро, возвращая ему тетрадь с пятёркой, Лагутина взбунтовалась уже по-настоящему, сказав прямо, что таскать такую тяжесть домой она не желает более, потому как проверять ей там абсолютно нечего; и что поэтому Вадик, если ему не интересно её задачи решать, пусть-де сидит и решает свои – интересные, чем он, собственно говоря, и занимается на её уроках: она это видит прекрасно.

«Хорошо, – ответил на это Вадик, – буду решать».

И контрольных по математике для него с той поры более

уже не существовало...

Таким вот образом уже с конца сентября, в плане наук математических, Стеблов окончательно отделил себя от класса, от буднично-повседневной жизни его, насущных дел и тревог, проблем и забот неизбежных и утомительных, с выпускными экзаменами связанных и последним звонком, с получением аттестата зрелости. Формально да, он числился в 10“А”, сидел ежедневно за партой и вроде как что-то там слушал, голову приподнимал. Но при этом с классом не сливался полностью, живя своей собственной внутренней жизнью, яркой и увлекательной на удивление и на зависть, расписанной до минут, до предела насыщенной, в которую он не пускал никого, даже и своих родителей, которую оберегал от посторонних глаз и влияния пуще всего на свете.

Он приходил на уроки алгебры и геометрии, на анализ тот же, открывал привезённые из Москвы пособия, как правило – изданные в МГУ, и планомерно и старательно штудировал их, изучал, решал самостоятельно их задачи, ни на кого не глядя в такие минуты, ни в чьей не нуждаясь помощи. А надеясь только лишь и исключительно на себя самого, собственные здоровье и труд, возможности и способности.

У него был конкретный и чётко расписанный план на последний перед выпуском год, и своя же выверенная до мелочей образовательная программа, нацеленная на мехмат, в которой ему некому было в 10“А” помогать, подсказывать

и контролировать, включая сюда и учительницу. О чём Вадик, по правде сказать, ни сколечко не тужил и горечи никакой не испытывал. Он привык в интернате быть себе самому судьёй, педагогом, подсказчиком и помощником: Гордиевский с Мишулиным его к этому хорошо приучили. И цензором самым придирчивым быть привык, самым строгим и бескомпромиссным, каких ещё поискать, не прощавшим себе и малейшей расслабленности и изъёнов в работе, не принимавшим сомнений и передышек, нытья. Передышки, нытьё и опека плотная с чьей бы то ни было стороны его и маленького раздражали.

Ну и чего ему было у Господа Бога просить и желать, коли так?! о чём горевать и кручиниться при таком-то самоконтроле и самоотдаче, при таком горении?! Одна только воля железная была ему и нужная, хорошее самочувствие и настроение, и большое количество свободного времени. Чтобы успеть сделать всё намеченное и запланированное в срок, хорошо к вступительным экзаменам подготовиться... Это он и получил в родном доме и школе своей – получил с избытком. И слава Тебе, Господи, как говорится!..

Лагутина, словно бы сговорившись с преподавательницей химии и неосознанно копируя её, старалась тревожить Вадика только тогда, когда в процессе обучения попадалась какая-нибудь задачка особенно сложная, которую ни ученики, ни она сама не могли решить; или когда приходила, опять-

таки, на её уроки комиссия из ГорОНО с проверкой. В такие особенно нервные дни Стеблов непременно вызывался к доске в числе первых и простаивал там, как правило, до конца урока, закрывая собою учительницу и класс, нивелируя умственную и образовательную слабость 10“А”, как и все имевшиеся педагогические просчёты и недоработки. Но это было раз в четверть всего – не чаще, – и Вадика сильно это не напрягало; наоборот – развлекало только, давало возможность лишний раз себя показать, силу и знания свои проверить и почувствовать.

А ещё Лагутина, уличив момент, подходила к нему иной раз на перемене, краснея и тупясь как девочка. Просила, прячась от учеников, растолковать ей некоторые наиболее важные моменты новой программы: про значение первых и вторых производных в деле исследования непрерывных функций, про точки локальных экстремумов и перегибов, про неопределённые и определённые интегралы, наконец: чем они отличаются друг от друга и как их, соответственно, искать. И Вадик рассказывал ей что знал, как ровне своей или матушке – без дешёвого зазнайства и ухарства, понимай, без ехидного высокомерия, тем паче, – как растолковывал он ежедневно такие же точно вопросы школьным своим товарищам и друзьям. И учительница была ему особенно благодарна за это.

Отношения установились у них деловые и взаимно-уважительные, которые устраивали их обоих. И, особенно, они



устроивали Вадика, безусловно. Нина Гавриловна дала ему полную свободу на своих уроках, – а это для предельно целеустремлённого и мобилизованного Стеблова, на Москву заточенного, на Университет, было на тот момент самым что ни на есть важным...

Были в четвёртой школе и другие преподавательницы, которые относились к Стеблову с большим уважением, с некоторым почтением даже, и старались по возможности не тревожить его частыми вызовами к доске, опросами и проверками еженедельными, даже и видя его полное равнодушие к их предметам.

«Паренёк горит изнутри, живёт своей математикой, – так зачем же мы станем ему мешать, палки вставлять в колёса», – встретившись в коридоре или учительской, между собою согласно переговаривались они – точь-в-точь как воспитатели интернатовские – и создавали Стеблову самые выгодные условия, самые что ни на есть щадящие. Подмечая, что во время уроков истории, биологии или той же химии, например, он сидит и решает тайком математические задачи из книг, на которых профиль Главного здания МГУ красовался, они не останавливали его никогда, не ругали. Они только подходили к нему потом, когда их уроки заканчивались, и спрашивали подчёркнуто уважительно:

«Ну что, Вадик, готовишься? Скоро опять в Москву, в Университет поедешь, да?»

Стеблов утвердительно кивал головой как о вопросе давно решённом, и они, желая успеха, отпускали его. Чтобы он, отдохнув пять минут, на следующем по расписанию уроке

продолжал готовиться дальше.

Он никогда не скрывал своих намерений из суеверной трусости или из лицемерия, хотя и не трезвонил о них, не благовестил на каждом углу для самовосхваления и саморекламы. Но если подходил кто и спрашивал его о планах, – отвечал твёрдо, что хочет поступать на мехмат, профессиональным математиком в будущем становиться.

Ему, впрочем, и не нужно было бы всего этого говорить – потому как Университет светился в его глазах так же ярко и убедительно, как светится университетский золотистый шпиль в солнечную погоду. Этот свет исходил от Вадика за версту, заставляя добрых людей почтительно жмуриться и улыбаться при встрече...

Не все педагоги, однако ж, понимали его, ценили его устремления, своевольничать ему позволяли, любимыми заниматься делами чуть ли ни целый день, не все на подобную роль соглашались – второстепенную и унижительную для себя и своих предметов. Были и такие, которые отчаянно сопротивлялись этому и всё пытались у себя на уроках к порядку его призвать, к дисциплине, заставить уважать себя и свою работу, свой труд.

И первой, самой настырной и яркой в этом коротком ряду стояла Старыкина Елена Александровна, уже третий год кряду учившая их класс русскому языку и литературе. Она особенно в этом дисциплинарном деле упорствовала и люто-

вала, с обособленностью и своеволием Стеблова смириться и не хотела, и не могла: завучем школы работала, всё ж таки, к порядку не только учеников, но и учителей призывала. Да и по натуре своей дамой была предельно гордой, обидчивой и самолюбивой.

Елену Александровну Вадик очень уважал до Москвы: ему импонировали её железная воля, фанатизм и профессионализм, как и её решительный, взрывной и предельно-импульсивный характер. Стеблов и сам был фанат по натуре, был одержим любым делом, за которое брался; сам был взрывным и легковозбудимым до крайности, подвижным, озорным, заводным. И литературу русскую он очень любил: хорошие книжки “глотал” как конфеты вкусные.

И Старыкина ценила его (хотя и скрывала это), частенько как с равным спорила с ним по литературным вопросам, когда они расходились в оценках того или иного героя. Статьи критические ему приносила не раз, чтобы свою позицию подтвердить и авторитет не уронить учительский. Более в классе с ней не спорил никто на профессиональные темы, даже и Чаплыгина Ольга; и она свою правоту так жарко более ни перед кем не доказывала. Делай Стеблов поменьше ошибок, грамотнее и аккуратней пиши, – и он бы ходил у неё в любимчиках, в фаворитах...

Но после Москвы Вадику стало не до неё; точнее – не до её уроков.

«Сочинение – это всё ерунда, – не единожды говорили ему

в Москве приезжавшие к ним в интернат выпускники, мехматовские студенты, когда разговор про вступительные экзамены заходил, про суровое экзаменационное сито. – Из трёх ежегодно предлагаемых на экзамене по русскому языку и литературе тем одна обязательно будет *свободной*. Бери её, – усмехались они делово, – и пиши себе преспокойно. Простыми предложениями пиши, где одни подлежащие и сказуемые, используя только те слова, которые хорошо знаешь... Две-три странички напишешь – и хватит: этого будет достаточно. Двойку тебе, во всяком случае, за это никогда не поставят. За сочинение на мехмате двойку редко ставят кому: на мехмате главное – математика».

Памятуя о таком наказе бывалых, знающих людей, Вадик и сосредоточился дома исключительно на математике, штудированием которой без сожаления заменял по интерна-товскому испытанному образцу уроки родной словесности; или пытался по возможности заменять, пускаясь на всякие ухищрения...

Вот проходили они, к примеру, программную «Поднятую целину», рассказывала им Старыкина у доски *образ* Давыдова или Нагульнова: как десятиклассники *обязаны-де* их себе представлять, как понимать *должны* бессмертных шолоховских героев, в каком, так сказать, политическом плане и ракурсе. И – штамп на штампе лез из её пламенных учительских уст, лозунги и казёнщина бюрократическая, спущенная из министерских недр через обязательные хрестомат-

тии, пособия и учебники. Что на деле оборачивалось скрытой дискредитацией и профанацией Шолохова, пусть с её, Елены Александровны, стороны неосознанной и невольной, искренним стремлением продиктованной получше данное произведение преподать, сделать его как можно более ярким и привлекательным.

А на деле, на деле выходили сплошная ерунда и скука, этакая литературная “таблица умножения” или тот же “бином Ньютона”, если совсем откровенно и грубо про те уроки сказать, от которых идеологической мертвечиной пахло, кисли и тупели мозги, а скулы на сторону сводило. Скучно становилось от всего этого и неинтересно, и за светлого русского гения очень обидно. Ясно же, что М.А.Шолохов был слишком велик и необъятен, и слишком мудр, чтобы пытаться впихнуть его, даже и из благих побуждений, в какие-то шаблонно-трафаретные рамки. И потом в таком вот урезанном и уменьшенном виде как-то пытаться его понять, суть его повестей и романов с горем пополам выудить. Которые, как теперь уже ясно его почитателям, кровью писались, именно так. За которые писатель всю жизнь собственной здоровьем расплачивался.

Повзрослевший и возмужавший к десятому классу Стеблов подобную тупую казёнщину и суррогаты школьные уже плохо переносил: ошалевал от шаблонов и штампов – литературных, исторических, идеологических, любых. И, спасаясь от них, он тайком доставал из-под парты задачник завет-

ный и начинал что-нибудь оттуда решать, коротать с пользой время, пока одноклассники его сидели и переливали из пустого в порожнее в классе; учили, что надо, а чего не надо на будущих выпускных экзаменах говорить...

Но и Елена Александровна была человеком упорным и волевым, и не собиралась так просто сдаваться: позволять ученику, пусть даже и через чур увлечённому, оскорблять и унижать себя. Тут уж, как говорится, находила коса на камень: характер сталкивался с характером, энтузиазм и задор молодой – с фанатизмом, достоинством, властью.

Увидав однажды во время своего объяснения на столе у Стеблова постороннюю книгу, большую такую, красивую, с университетским профилем наверху, она, позеленев и расшвирипев от злости и от обиды страшной, не раздумывая, схватила её и запустила с размаху в стенку. Да сильно так, от души, что обложка книжная оторвалась и отлетела в сторону и сильно помялись страницы учебника, порвались даже в некоторых местах.

– Я понимаю, Стеблов, что ты увлечён и что тебе не интересно в школе, – сказала она после этого тихо, но так, что за обманчивой той тишиной отчётливо чувствовалось притаившаяся рядом буря. – Но ежели ты всё-таки ходишь на мои уроки, вынужден из-под палки ходить, – то уж будь добр хотя бы послушать их краем уха... Ты же русский человек, как-никак, по крови, по месту рождения русский. И русский язык просто обязан знать, великую русскую литературу на-

шу, которой Россия перед целым миром гордится, посредством которой цивилизованный мир обошла.

Вадик не обижался на пылку, искреннюю в своих порывах учительницу: некогда было ему на неё обижаться. Образовательная программа, что он для себя наметил, была столь объёмна и глубока, требовала столько сил физических и душевных, что не допускала даже и самых малых и незначительных с кем-либо склок и обид, которые подрывают здоровье.

Поэтому он мобилизовался и забронировался ото всех предельно: он запер душу свою с эмоциями под пудовый замок... А после этого случая, жалея ценные книги, он на переменах стал аккуратно выписывать оттуда задачи на крохотные клочки бумаги, и всё равно тайком решал их на уроках Старыкиной – к поступлению на мехмат готовился, к серьёзнейшему экзамену по математике, что его ожидает там...

Подметив однажды и эту хитрость, Елена Александровна багровела как помидор, взрывалась, метала громы и молнии на непокорного ученика, к доске его немедленно вызывала – домашнее задание у доски отвечать. Встревоженный ученик хмурился, недовольный, что его от любимого дела словно телёнка от сиськи оттягивают, натужно прошлый урок вспоминал: что проходило там, что задавалось на дом. Если удавалось вспомнить, – он отвечал; если нет, – говорил честно, что урока не знает.

– Ты потому не знаешь, что не хочешь знать! что тебе на-



плевать на меня и на мои старания! – блажила тогда на весь класс разъярённая завуч. – Но имей в виду, дружок, что плевать на русский язык и на литературу я тебе не позволю! Завтра я тебя опять спрошу – первого! Так что будь добр – выучи сегодняшнюю тему, если не хочешь неприятностей себе!

Делать было нечего, и дома к стенке припёртый Вадик с большой неохотой брал в руки литературные и языковые пособия, зевая, учил положенный материал – чтобы на другой день доложить его как положено в классе.

Елена Александровна успокаивалась на время, светлела душой и лицом. И тогда он опять принимался за прежнее: за тайное решение на её уроках математических и физических задач. И меж ними опять случался громкий скандал, едва не кончавшийся рукоприкладством.

– Я тебе сейчас двойку влеплю, Стеблов! – взрывалась Старыкина девятибалльным гневом, замечая Вадика за посторонним занятием, поднимая с места его и отчитывая перед всем классом. – Ты до каких пор, скажи, будешь надо мной издеваться?! до каких пор будешь испытывать терпение моё?!... Я на самом деле сейчас пойду – и поставлю тебе двойку в журнал... А потом за год выведу тебе обе тройки по своим предметам. Возьмут тебя с тройками в Университет?

Старыкина яростно подходила вплотную, в упор вопросительно смотрела нарушителю дисциплины в глаза, ждала ответа.

– ...Возьмут, – отвечал ей Вадик спокойно, ничуть не со-

мневаясь в сказанном. – Если вступительные экзамены хорошо сдам.

– Тогда я тебе двойки в аттестат залеплю!!! – ревела багровая Елена Александровна, уже окончательно терявшая контроль над собой, готовая с кулаками на молодого упряма броситься. – Поедешь у меня в Москву поступать с двойками в аттестате!!!

Спокойствие и неизменное к ней равнодушие со стороны вернувшегося Стеблова убивали её, терпения и сил лишали, здоровья последнего. Они изводили её тем вернее, – что Вадик по-прежнему нравился ей, нравился даже больше, чем было раньше – это было заметно даже и по мелочам. Её как магнитом притягивало, вероятно, железное его упрямство, покоряли воля стальная и негибкая, его прямо-таки фанатичный на Москву настрой; и, наконец, его потрясающий жар душевный, что струился из его карих глаз непрерывным лавинообразным потоком, сметающим все препятствия на пути.

Ей было обидно только, что всё это лично её не касалось; что ежедневно, из урока в урок, как электричество в проводах или молоко на далёкой ферме, текло себе и текло – и протекало мимо...

Так вот и проучились они весь последний десятый год в непрерывных ссорах, скандалах, размолвках, в примирениях временных, относительных, и новых, ещё более гром-

ких, скандалах. Что, однако ж, не помешало им ни сколько остаться друзьями, в конце концов, и сохранить друг о дружке самые тёплые и самые добросердечные воспоминания. Вечера встречи с выпускниками, что регулярно проводились в четвёртой школе, и где Старыкина со Стебловым, однажды встретившись в актовом зале, наговориться и порадоваться никак не могли, а под конец расстаться – яркое тому подтверждение...

Елена Александровна хотя и злилась и ругалась на Вадика, – однако ж руганью той отчаянной и регулярной настроенности ему не сильно портила: ругань её он близко к сердцу не принимал. В первые по возвращении дни его куда более огорчало другое: его удручающее физическое состояние, которое дома особенно остро бросалось в глаза – на фоне прежних товарищей.

Свою ужасающую телесную немощь и фатально-остановившийся рост Вадик заметил весной ещё, когда домой из Москвы вернулся и стал встречаться в городе во время прогулок со своими бывшими одноклассниками, то там, то здесь попадавшимися ему на улице, в кинотеатре, парке и магазинах. Все они, как один, оказались и выше, и здоровее его, лицами бодрей и румяней. И ему приходилось с грустью немалой итожить, провожая завистливым взглядом парней, насколько же всё-таки Москва, хвалёный интернат колмогоровский истожили, ослабили и обескровили его за прошедший год – будто бы компенсировали его здоровьем и статью то, что подарили ему интеллектуально; заставили собой за все образовательные дары расплатиться.

Потом его пришли навестить Макаревич с Лапиным, не видевшие его с зимы, – и опять Стеблову пришлось удивляться, поразительные изменения в них подмечать. Оба по-

что на целую голову его обогнали в росте, были заметно шире в плечах, румяней, круглей, здоровей – настоящие гренадёры стали, прямо-таки, писанные красавцы! А ведь ещё год назад по всем параметрам ему уступали, богатырю, робели в его присутствии. А теперь он карлой невзрачным смотрелся на фоне друзей, дохляком ущербным, убогим...

Ощущение собственной убогости и ущербности, собственной слабости с полной силой обрушилось на него первого сентября, когда он в полном составе класс свой увидел, всех приятелей бывших, подруг, несказанно расцветших и повзрослевших за год, поздоровевших и вытянувшихся так, что обескураженный Вадик только диву ходил и давался. Юрка Шубин, к примеру, уже под метр девяносто был, весил под сто килограммов. Да и другие не сильно от него отставали.

Только Вадик остался прежним – и в росте, и в массе своей. Как имел до Москвы метр семьдесят, так на отметке этой и замер; как носил костюм сорок восьмого размера, так в нём же в класс и вернулся; как весил шестьдесят килограммов, так те же самые килограммы и сохранил, не прибавив себе ни сколочко. Интернат будто законсервировал, заморозил его, полностью прекратив развитие.

На уроке физкультуры, что 3-го сентября в 10“А” проводился, возвратившегося Стеблова, всегда стоявшего вторым в шеренге до Москвы, пропускавшего вперёд себя по росту

только здоровяка Шубина, на этот раз поставили в самый конец. Позади него, словно в насмешку, остался только Славка Котов – известный в школе заморыш и доходяга, который последним с пятого класса стоял, и к этому все привыкли.

Строевое соседство с Котовым потрясло-покоробило Вадика, недовольной досадой отозвалось в нём, граничившей с недоумением, которые увеличились многократно, когда их бессменный физрук, Бойкий Вячеслав Иванович, уже на втором своём уроке повёл 10 “А” в парк: на традиционный осенний кросс, который бежали по очереди мальчики и девочки.

Там, в парке, встав в первый ряд как обычно на одной из его аллей и беговые заслуги прежние со способностями держа в уме, держа в голове в Центральной секции МГУ тренировки, Вадик уже со старта рванул было вперёд по привычке, намереваясь сразу же от одноклассников далеко оторваться – точь-в-точь как он это делал ранее, в доинтернатовские времена, – и финишировать потом одному под восторженные взгляды девочек и прохожих. Он хорошо это умел делать ещё совсем недавно, он к таким отрывам победным привык.

Но на этот раз его прежняя ломовая тактика не сработала – совсем. И оторваться ему одноклассники уже не позволили, не дали так пошло и дёшево себя обогнать. Мало того, но уже после первых ста метров забега, потраченных на рывок, наш вернувшийся из Москвы чемпион почувствовал себя так скверно в плане дыхания и кровяного давления,

что в пору было ему останавливаться и с дистанции с позором сходить. И потом ссылаться, гримасничая и кривляясь, подобно некоторым горе-спортсменам, на какую-нибудь мифическую травму в мышцах или ступне, которой и в помине не было.

С ним всё это именно и произошло – такие метаморфозы спортивные, легкоатлетические. Воздуху в его лёгких катастрофически не хватало уже на первых ста метрах дистанции, ноги отяжелели быстро, пудовым свинцом налились, а за грудиной зажгло и заломило так, что даже страшно сделалось. Казалось, что ещё немного, – и лопнет и разорвётся грудь и раздувшееся лицо его от перенапряжения и непосильных нагрузок.

Это поразило Стеблова, напугало даже: ведь ему ещё нужно было бежать и бежать. А он не понимал после первых ста метров, что вдруг такое случилось с ним, быстроногим с рождения парнем: почему не бежится совсем, не дышится и не можетя? почему он топает по дистанции как слон, за что у них в секции даже и новичков ругали? И почему одноклассники – вот уж диво так диво! – которые ранее даже и не пытались за ним угнаться, понимая всю бессмысленность и бесполезность этого, теперь уверенно бегут рядом на длинных своих ногах и даже и не думают ни отставать, ни сдаваться – пальму первенства ему за здорово живёшь отдавать. Бегут – и гогочут как жеребцы, толкаются, шалят по дороге. И даже и анекдоты рассказывать умудряются, приколы

и хохмы разные: и на это у них, разбойников, хватает сил! Каково!... А он, бывший их победитель и чемпион, надулся как перезрелая тыква и только думает, как ему до конца добежать – не отстать, не упасть по дороге, перед классом не опозориться. Дела-а-а! Чудны дела Твои, Господи!...

Он не отстал от парней, в итоге, – он выдержал! – и на пределе сил, на злости природной и самолюбии он всё же закончил дистанцию вместе со всеми – багровый, раздувшийся и задохнувшийся как никогда, спотыкавшийся от усталости после финиша и совсем не помнивший, главное, памятью школьные годы окинув, чтобы в прошлом когда-нибудь было так плохо ему, чтобы он так уставал от бега.

– Что, тяжело стало всех обгонять? – улыбаясь, спросил его всё тогда быстро понявший физрук, когда забеги закончились. – Все соки, смотрю, в Москве из тебя твои столичные педагоги вытянули.

– Тяжело, – утвердительно кивнул головою Вадик, обречённо под ноги себе посмотрев, ответа и бега собственного стесняясь; и потом, чуть погодя, добавил: – Такое ощущение, знаете, что будто бы раньше я и не бегал совсем, будто бы всё внутри атрофировалось и опустело.

Обессиленный и обескураженный, весь взмыленный как скаковая лошадь, долгое время не способный успокоиться и отдышаться, стучавшее сердце унять, он, угрюмо бредя домой в общей массе, тогда твёрдо решил для себя, что не ста-



нет более ни на лыжах, ни кроссы бегать – позориться перед классом, бессилие собственное на показ выставлять. Решил, что лучше уж он Бойкому про здоровье что-то соврёт, про температуру, ногу больную и всё такое.

Тот поймёт его состояние – и настаивать и вредничать наверняка не станет: сам был когда-то спортсменом, у самого, небось, были и неудачи, и спады, всё было. Да и мужик он не тупой и не вредный, чтобы дурную линию гнуть или в позу глупую становиться.

Стеблову же про спорт нужно дома забыть, про лидерство в нём и победы прежние, на которые он уже не способен, увы, категорически не способен... Ну и ладно тогда, и пусть. И, слава Богу, как говорится! Значит, на математику нужно переключаться полностью, ей одной себя целиком отдавать: это будет во всех смыслах ему и выгоднее, и полезней. Его настоящее место там – не в спорте. Он должен всех своим интеллектом теперь побеждать, а не выносливостью, как прежде...

В целом же, если мелкие неприятности не считать, что со здоровьем его были связаны, спецшколой сильно подорванным, – то во всём остальном возвращение Вадика на родину имело самые положительные и позитивные последствия для него, самые во всех отношениях выгодные. Вернувшийся, он перестал надрываться над неподъёмными книгами и конспектами, ежедневно суесться и нервничать, истерить. Ему были созданы дома и в прежней школе самые что ни на есть комфортные и оптимальные условия, которых он не имел в Москве, в переполненном детьми интернате.

И родители ежедневной нежной заботой хорошо помогали ему, подпитывали и психологически и физически, родные брат и сестра. И работалось Вадiku ввиду этого под их тёплыми домашними крылышками спокойно, уверенно и легко, и очень и очень споро.

Отсидев до обеда в школе и мало от уроков устав, он не спеша возвращался домой, проветриваясь по дороге, обедал дома сытным материнским борщом, наваристым и душистым, после которого иной раз его даже и в сон тянуло. Потом он отдыхал ровно час: спал или просто лежал на диване, – и никто ему не мешал, не хулиганил и не шумел рядом, с глупостями не приставал – избави Бог! Родители категорически запретили брату с сестрой тревожить Вадика в

минуты отдыха, и те их запрет соблюдали неукоснительно. Большими оба становились уже, всё понимали прекрасно и старшему братику зла не желали.

Поэтому-то проснувшись в четыре часа пополудни сытым и хорошо отдохнувшим, их брат без раскачек садился к столу – домашние задания делать, – и тратил на них два часа ровно: на химию с биологией, историю с литературой. Более он на эти предметы времени тратить не мог: у него каждая минута дома, каждый миг были на строгом учёте.

И как только заканчивались отмеренные сто двадцать минут, Вадик решительно отодвигал от себя всё ненужное – нематематическое и нефизическое, понимай, – и с жаром приступал к тому уже, что было по-настоящему дорого и желанно ему, что его с нетерпением дожидалось: к геометрии, алгебре, тригонометрии; к механике, оптике, электричеству. Он истово занимался этим уже весь вечер потом, без прерыва на отдых, поочерёдно математику с физикой чередуя, задачи с теорией, – пока родители силой его не клали спать и свет не выключали в квартире.

Он было пробовал сопротивляться родительскому диктату: просил, умолял и отца и мать дать ему время ещё поработать; говорил, что не всё из намеченного прочитать и решить успел, в памяти законсервировать. Но родители, помня врачебный наказ, здесь оба непреклонными и неумолимыми были, и зорко оберегали здоровье не знающего меры сына, не позволяли тому палку перегибать.

Расстроенный, сын ложился в кровать, но перед тем как уснуть, итожил прожитый день и намечал для себя короткий план действий на завтра: сколько задач и каких ему нужно будет решить, что прочитать из теории. Учебный год уже в сентябре стал казаться ему непоправимо коротким – потому что уж слишком обширной была намеченная им программа, и слишком много книг он привёз из Москвы. Силёнок на всё не хватало. Его желания и дома катастрофически не совпадали с возможностями, не поспевало опять за мыслями тщедушное тельце его: картина московская повторялась.

Расслабляться поэтому было нельзя ни на миг, категорически нельзя было транжирить попусту время. Столичный в сердце стихийно рождённый девиз, случайно прочитанный где-то, что *“бег за временем, за веком пусть войдёт в твою привычку; поспевай – и ты успеешь, а отстанешь – ты пропал”*, – дома ещё отчетливей, ещё звонче зазвучал в его голове. И Вадик следовал этому зову неукоснительно...

Он отвалил от себя всех друзей, всех приятелей прежних по школе, по дому, по улице. Забежав к нему пару раз вечером после уроков с предложением пойти погулять, и получив отказ самый что ни на есть решительный, – обиженные друзья перестали со Стебловым общаться, дружить, чем только обрадовали его несказанно.

Довольно скоро он остался дома один – и ни сколько не сожалел об этом. Университет был его единственным другом по сути в родительском родном доме, что в мечтаниях

сладких и острых ежедневно ему являлся, — другом милым и задушевым, другом возвышенным, самым верным и самым любимым к тому же, самым что ни на есть желанным, с которым одним только и было интересно ему всё последнее время, с которым он не испытывал скуки; который настойчиво звал к себе, не спать заставлял по ночам, трудиться и бодрствовать без перерывов; который обещал ему в самом ближайшем будущем максимально-счастливую жизнь и предельно-радушную встречу...

Первого сентября, помимо встречи со школой и классом, и учителями бывшими, хорошо знакомыми, уважаемыми и любимыми в основном, произошло и ещё одно знаменательное событие в жизни вернувшегося домой Стеблова: он встретился с Ларисой Чарской. Девушкой, которую он не видел год и три месяца по времени, но которую не забыл на чужбине, держал в голове. Он выходил с друзьями с урока на большой перемене и в коридоре почти что столкнулся с ней, под ручку с Чудиной прогуливавшейся по обыкновению, рассеянно глядевшей по сторонам и о чём-то мило мечтавшей.

Он увидел её – и вздрогнул, опешивший, остановился и замер на половине шага, будто в стеклянную стенку стукнулся лбом. После чего, нервную дрожь ощутив по всему телу, его с головой накрывшую, счастьем и нежностью весь засветился – и произнёс про себя с умилением, будто молитву самую что ни на есть задушевную и скоропомощную прочёл: «Лариса! Милая! Здравствуй! Здравствуй, родная! Вот и свиделись, наконец! Вот и встретились!»... И пуще прежнего загорелся неопишуемой радостью изнутри, светлый праздник всем видом и всем естеством растревоженным излучая, которого давно уже не было в нём, который, казалось, забыл к нему и дорогу... И по которому так соскучилась и

стосковалась его душа, вся высохла, съёжилась и очерствела.

Вот чего ему больше всего не доставало в Москве, оказывается, – любви! – как сердечко ему моментально шепнуло, – чего, дурилка картонная, он сам себя добровольно лишил по молодости и по глупости. Удивительно, как он сумел прожить без неё целый год! как умудрился, приезжая домой, с Ларисой ни разу не встретиться!

Из-за этого, наверное, и все его муки московские, болезнь, истерия, тоска; отсюда же – и его интернатовская неудача...

Не описать и не передать, понятное дело, что творилось в душе и на лице Стеблова, когда он вдруг Чарскую в коридоре встретил – всю такую цветущую, ухоженную, модно одетую, холёную, сытую и благоухающую, девственно-чистую и непорочную, пышную, сочную и желанную до одури, до жгучей истомы в груди! Красивую и дородную, одним словом, шикарную во всех смыслах даму! Настоящую кралечку!... Встретил – и как бы вторично эту милую, чудную девушку в сердце своё впустил после долгой-долгой разлуки, что с вечностью вполне можно было сравнить или внезапной смертью. И хотя та их первая после отъезда и внезапного возвращения встреча была мимолётной – пяти-, или шести-секундной всего, – но зато уж и предельно-яркой и запоминающейся – ну прямо как появление шаровой молнии над головой в ясную солнечную погоду! От неё они моментально

вспыхнули и загорелись оба как пересохшие в поле стога, чувства прежние, пламенные, сразу же в сердцах воскресив, разлукою их многократно усиливая. И при этом клокочущими эмоциями наполняя грудь, а праздничными мыслями – головы.

Стеблову, востепенувшемуся и вытянувшемуся в струну, сонные глаза по-телячьи вылупившему и округлившему, лестно было увидеть, что и Чарская вся вдруг зарделась и напряглась, и остолбенела от неожиданности; запнулась, сбавила шаг – и глазищами огненными, широко распахнутыми так в него и впилась, прямо-таки как хищница в жертву вцепилась.

«Вадик! родной! Ты ли это?! Вадик! – без труда прочиталось в её взгляде безумном, жгучем, страстью и праздником до краёв наполненным. – Ты домой вернулся, да?! Ты больше не уедешь в Москву учиться?!...»

В коридоре были галдёж, толчея, и сновавшие по школе дети вынужденно развели-растащили их, в двух разнонаправленных потоках оказавшихся. Но уже через пару-другую шагов они, разошедшиеся, как по команде вдруг остановились и замерли оба, дружно повернулись назад... и опять обожгли-опалили друг дружку огнём ошалелых от счастья глаз, огненную лаву из себя извергавших.

«Вадик! – опять отчётливо прочиталось Стеблову в искрящихся любимых глазах. – Ты вернулся! Господи! Счастье-то какое ты устроил мне!»



«Лариса! – в свою очередь отвечал он ей прищуренным томным взглядом. – Как я рад, что снова тебя увидел! Как рад! Если бы ты только знала!...»

Подольше постоять и порадоваться, посмотреть-полюбоваться друг другом после годичной разлуки им и на этот раз не позволили: начали в спины и плечи толкать шедшие сзади школьники. И они с неудовольствием разошлись, ещё разок оглянувшись по ходу движения и при этом цепко удерживая в голове ту их первую в коридоре встречу, как реликвию оберегая её от посторонних мыслей и тем...

– А тебя тут ждали весь год, – ухмыляясь все-понимающе и лукаво, доверительно сообщил Макаревич Стеблову, когда тот догнал его и рядом пошёл. – Несколько раз ко мне подходила: и прошлой осенью, помнится, когда ты только уехал, и весной, – кивнул он в сторону удалявшейся Чарской. – Всё про тебя расспрашивала: где ты? почему тебя нет? и бывают ли там у тебя, в твоей новой школе, каникулы? А что я ей мог рассказать, посуди? Я и сам-то толком не знал ничего и тебя целый год не видел. Сказал, что ты уехал учиться в Москву и что назад, вероятно, уже не вернёшься... Очень она расстроилась, помнится, когда такое услышала.

Сообщённое Серёжкой известие крайне удивило порозовевшего и очарованного Вадика, такое услышать не ожидавшего, разумеется, тихой гордостью отозвалось в душе, тихой радостью. «Надо же, какой она оказалась, – с благодарной

нежностью подумал он про Ларису. – И не забыла, и спрашивала, и ждала... и даже будто бы хотела встретиться на каникулах. Почему мы ни разу не встретились с ней зимою, весной и, особенно, летом: я ведь часто гулял по городу? И на пруд постоянно купаться ходил, и в парк чуть ли не каждый день наведывался. Странно... Ну да ладно, чего уж там вспоминать и гадать бесполезно, бессмысленно. Теперь зато с ней регулярно видеться будем: целый год у нас теперь впреди».

Он подумал так – и почувствовал уже в следующую секунду, как сладко-сладко сжимается сердце от таких вот радужных перспектив, что ожидают его теперь в течение целого года, и как озноб душевный его всего так и подбрасывает и трясёт, и по сторонам колышет... А ещё он почувствовал, что Лариса со своими сердечными чувствами и привязанностью станет истинной наградой ему, Москвой, интернатом надорванному, – и, одновременно, бальзамом или примочкой душевной, святым целебным источником, настоящим, всепобеждающим и всеблагим, который обязательно излечит его, исцелит, обязательно! который ему всё намеченное осуществить поможет! Ему её так не хватало в Москве: теперь-то он это ясно понял...

Следующим по расписанию уроком была у них в классе история, которую Стеблов благополучно мимо ушей пропустил: всё сидел и про Чарскую, не переставая, думал, прошедшую встречу с ней вспоминал и при этом как дурачок улыбался. Счастье внезапно нахлынувшее переполняло его, он счастьем тем и восторгом буквально захлёбывался. Так хорошо, так сладко было ему сознавать, что последний школьный учебный год начинался для него, беглеца, с праздника! А это было лучшее из того, что можно было придумать, и что в прежней школе и классе его могло ожидать; что ему голубкой-Судьбой могло быть здесь уготовано.

Вот он сидел и радовался, и тряс головой, счастливый, в окошко, настежь распахнутое, блаженно сощурясь, смотрел, не замечая ходившей по классу учительницы. И только слушал, как сытые птицы допевают последние песни свои; наблюдал, как они на ветках вольготно и важно красуются.

Образ Чарской ни на секунду не выходил из его головы: возбуждал, волновал, адреналином изрядно накачивал. Раз за разом представляя её себе, мимолётно увиденную в коридоре, он только диву давался по поводу её красоты, её мощи телесной и стати. И всё поражался, поверить не мог, как разительно изменилась она за время его отсутствия: похорошела, поздоровела, расцвела без него, жизненным соком и

силой наполнилась. Она и прежде мелкой и суетной не была и оценивала себя не низко, – но тогда она была всё же девочкой по летам, по поведению и развитию внутреннему, глупеньким милым ребёнком с круглым, как мячик, лицом, и двумя тугими косичками за плечами. Такой Стеблов её знал до Москвы, такой и запомнил.

Теперь же от девочки той и следа не осталось, от ветра, что гулял в её голове; а две косички игривые заменила причёска – дорогая, столичная, модная очень, в каких артистки известные в советских кино снимались и которая очень шла ей... И лицо у неё изменилось и вытянулось по-женски, стал глубоким, задумчивым, по-особому цепким взгляд. Она заметно поумнела и посерьёзнела, повзрослела, в целом, – это было заметно, это бросалось в глаза. И тело её выросло, налилось и окрепло настолько, что остановившемуся в росте Стеблову почудилось даже, что она стала выше его, а уж тяжелее и шире – точно... И так это было ново всё, так чудно и красиво до одури, и соблазнительно одновременно, что ему непременно захотелось Чарскую ещё разочек увидеть: посмотреть, порадоваться за неё, повнимательнее всю разглядеть и её девственной красотой насладиться...

С таким настроением он и вышел на отдых после урока истории – и сразу же Ларису заметил, что к их классу по коридору шла и, как и прежде, как до Москвы ещё, с ним встречи на переменах искала. Он это понял прекрасно: что

она ищет **его**, что хочет именно **его** увидеть. И у него от радости ёкнуло сердце: он сразу же про всё и про всех забыл. Порозовевший и задохнувшийся, он только красавицу Ларису в коридоре видел, – ею, как прежде, жил...

Приблизившись, они вцепились глазами друг в друга – да так, что “посыпались искры из глаз”, и обоим сделалось жарко и душно как в бане! И Вадик многое успел во взгляде девушки прочитать, что лишь их двоих касалось.

«Ва-а-адик! Здравствуй, мой дорогой, мой хороший! – как по раскрытой книге легко читалось ему, у окна с одноклассниками остановившемся. – Какой же ты молодец, что вернулся! какой молодец! Если б ты только знал, как мне без тебя лихо было, как я тут одна сходила с ума... Ва-а-адик! Любимый! Родной! Мы не расстанемся больше, слышишь, я одного тебя уже никуда-никуда не пущу: за тобой на край света поеду! Я так решила, Вадик, и я исполню решение своё. Потому что я испытала разлуку, я нахлебалась ею сполна, – и я не желаю более себя одиночеством мучить...»

Мысленные послания самого Стеблова были попроще и поскромней в плане формы и окраса эмоционального, были не столь заметны и не бросались явно в глаза. Но по содержанию мало чем отличались от мыслей Чарской, мало в чём уступали им. Он не скупился на чувства, не жадничал и не барствовал перед ней. Наоборот, вкладывал в очи возлюбленной, шагавшей ему на встречу, всё, что сам в те наисчастливейшие для обоих мгновения в сердце своём имел...

Меньше минуты длилась та их вторая встреча, после которой они опять разошлись, до предела взволнованные и возбуждённые, уносившие в мыслях, в пылавших сердцах своих восторженную друг о друге память. Но разошлись для того только, чтобы уже на следующей перемене, не сговариваясь, встретиться вновь. А потом и окончания первого учебного дня с нетерпением дожидаться: чтобы ещё разочек, на улице уже, встретиться и взглядами и сердцами обняться, как делали они это весь седьмой и восьмой класс. Стеблов был уверен, что непременно увидит после занятий Чарскую, мог побиться на счёт неё об заклад. И так оно всё и случилось: он действительно увидел её на школьном дворе, одиноко его ожидавшуюся.

Господи! Как же она на него откровенно тогда смотрела! с какой нескрываемой страстью и жадностью неподдельной, с каким нетерпеньем ждала! У Вадика даже и дух от взгляда её немигающего перехватило, а низ живота известными спазмами задёргался и занял, похотью растревоженный. Страшно было представить, что могло бы случиться, если бы он взял да и подошёл тогда к ней, если б остановился рядом, разговор по душам завёл: дал бы хоть крохотный шанс и повод Ларисе любовь свою проявить, про чувства собственные если б ей намекнул, что пуще прежнего в нём зыграли!...

Но он не подошёл и не заговорил про чувства, инициативы

к сближению не проявил: в его планы широкомасштабные и долговременные это тогда не входило. Он, как и в прежние годы, с друзьями прошествовал мимо, её глазами за встречу поблагодарив, в симпатиях мысленно ей признавшись. И всё! И Ларисе ничего не оставалось другого, как покорно следом пойти по противоположному тротуару, что она, разочарованная, и сделала.

Так она шла два квартала подряд, прожигая затылок и спину Вадика огнём своих страстью наполненных глаз, пока ни дошла до проулка, где ей нужно было сворачивать к дому. Там она встала как вкопанная на обочине и стояла, неподвижная, до тех пор, пока удалявшийся с приятелями Стеблов из вида её не скрылся, пока уже не на кого стало смотреть и на что-то положительное надеяться. После этого и она развернулась и домой не спеша побрела, держа в голове одну только мысль: что завтра у неё и у Вадика всё повторится заново...

И у них действительно всё повторилось в точности; и повторяться стало изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц – до новогоднего бала до самого, что проводился в их школе в конце декабря, в предпоследний день второй четверти. Каждый Божий день, окрылённая, Лариса ходила к нему и за ним, не обращая ни на кого внимания. И при этом так выразительно и недвусмысленно на него смотрела, так откровенно предлагала себя и свою любовь клоко-тавшую, переливавшуюся через край, что красневший и смущавшийся от таких предложений Стеблов порой не выдерживал, отводил глаза и нервничать начинал, суетиться.

«Вадик! любимый! родной! – всегда одно и тоже посылала она при встречах огненным взглядом своим, который Стеблов читал без труда, до мелочей расшифровывать и понимать научился, до полутонов и оттенков. – Ну, подойди же ко мне, пожалуйста! Ты измучил меня своей нерешительностью, истомил: я устала уже за тобою бегать. Что ты меня как собачку глупенькую подле себя для одной лишь забавы держишь? – самолюбие тешишь своё? Не могу и не хочу я твоею игрушкой быть: мне это и обидно и тягостно... Я и сама к тебе давно бы уже подошла, забыв про стыд и про гордость, – но мне, как девушке, этого делать не полагается. Ты ж, я надеюсь, понимаешь это? мне не нужно тебе прописные исти-



ны объяснять, азбуку человеческих отношений?... Я ведь не знаю, что там у тебя на уме. И мне не хочется в твоих глазах до девки уличной опускаться, об которую вытирают ноги, которую покупают и продают. Ты и сам меня после этого презирать начнёшь, – а мне презрения твоего не нужно».

А уж как одеваться она начала и следить за собою тщательно, как по-особенному заблагоухала и расцвела! – прямо как перед скорой свадьбой. И всё с одной только целью: вернувшегося из Москвы Вадика покорить, очаровать здоровьем, статью и запахами его, безукоризненным внешним видом...

Но Вадик был тот ещё гусь, стойкий – как оловянный солдатик. Он просьбам её настойчивым не внимал и на призывы отчаянные подойти-познакомиться не отзывался.

И на дорогие духи он не реагировал должным образом и на платья, на причёски модные, капроновые, с блёстками, чулки. Как не реагировал он и на все остальные тонкости и ухищрения, чем все молодые барышни так сильны, чем они противоположный пол привораживают.

Что не мешало ему, однако ж, со стороны Ларисою любоваться и восхищаться, её красоту оценивать по самым высоким меркам, всем сердцем её любить. Видеть её каждый день – красавицу пышную, любвеобильную – стало необходимо для него, начиная ещё с седьмого класса, к чему он на родине давно привык, воспринимал как должное, как нечто для себя родное и дорогое, и от чего уже отказываться

не хотел, совершенно. Как не согласился бы он отказаться от ласкового солнышка, например, от пения птиц по утрам или прохладного свежего воздуха.

Отказываться и не нужно было. Ибо четыре долгие до новогоднего бала месяца Лариса по-хорошему поражала его, душевным теплом, добротой ежедневно подпитывала, вдохновляла любовью своей, гордостью до краёв наполняла. Он был полон ею как никогда, духом крепок, телом здоров, а в целом – был на седьмом небе от счастья. То, что эта чудная девушка оказалась рядом в тот наиважнейший для него момент, когда он вынужден был временно отступить и неудовлетворённым домой возвратиться, а возвратившись, себя пуще прежнего взнудать и взбодрить для достижения поставленной цели, – присутствие Чарской рядом, высокое чувство к ней было для него именно счастьем.

Но Университет, всё равно, он любил больше: потому что Университет фронтом был для него, а Чарская Лариса – тылом. Ведь она была рядом всё время, была под рукой. И чтобы обладать ею, стать властелином её, ему достаточно было – и это он очень хорошо понимал – всего лишь маленького усилия, которое и усилием-то назвать язык не поворачивался.

До Университета же, наоборот, было далеко-далеко. Так далеко, что даже подумать и помечтать о нём было до суеверного страшно. Даже и разрекламированный интернат не приблизил его к нему, не дал никакой на счастливое буду-

щее надежды. Он, как факир столичный, лукавый и жуликоватый, только приоткрыл ему светлый университетский лик, подразнил для потехи – и тут же и обратно спрятал.

Так что, чтобы попасть туда, на мехмат на будущий год поступить, необходимо было ежедневно и ежечасно думать только об этом, только на один Университет быть нацеленным, постоянно **его** держать в голове. И всё время решать и решать прошлогодние конкурсные задачи, ни на секунду не прерываться и не останавливаться, запоминать понадежнее и повернее диковинные их алгоритмы, замаскированные ловушки логические и каверзы. И кроме задач не тратиться ни на что, тем более – на развлечения.

А Чарская, как тогда легкомысленно казалось Стеблову, была развлечением для него, игрушкой чувственной, забавой сердцу. Или призом, наградой за успех, за победу будущую, самую важную, – если про их отношения совсем уж грубо сказать, – для которых, победных игрищ и забав, время пока что не наступило.

«На двух стульях сразу не усидишь, и за двумя зайцами не угонишься, – скорее даже чувствовал, чем понимал он, возвращаясь домой из школы и неизменно видя за своею спящей шагавшую за ним по противоположному тротуару Чарскую. – Вот поступлю на мехмат на следующий год, – тогда и отдохнём, и погуляем всласть – с той же Ларисой на всю катушку и погуляем, по полной программе что называется... А пока мне нужно работать усиленно, книжки, из Москвы при-

везённые, читать и читать. Дел впереди у меня немерено».

Такие и подобные им мысли и настроения Вадика остужали быстро, словно холодный компресс. И он, душою и сердцем смирившийся и притихший, в отношении четыре месяца кряду хвостом ходившей за ним Ларисы так ничего серьёзного и не предпринял, не попытался сблизиться с ней, на другую сторону улицы перейти и для начала хотя бы просто познакомиться и поговорить, как неоднократно советовали ему шагавшие рядом приятели.

«Ну, иди же, иди, чудак, к ней, – частенько подталкивали они его в сторону провожатой. – Видишь, как она страстно смотрит, как любит и хочет тебя. Чего ты упрямишься-то?! чего ждёшь?! чего терпение её испытываешь?! Станный ты парень, Вадик!»

Стеблов всё видел, всё чувствовал, всё понимал и по-своему любил и жалел Ларису, был благодарен ей, в ножки готов был за её хождения ежедневные поклониться, заочно тысячекратно облобызать, осанну пропеть вселенскую, – но на встречу ей, однако ж, не шёл – решительно упирался этому. Университет всё время держал его в рамках суровой аскезы, с трудом, но гасил сердечные, раз за разом вскипавшие как кипятки в его молодой груди чувства. Что было для одухотворённого и целеустремлённого Вадика благом на тот момент: помогало ему с праведной Божьей стези вопреки всем страстям молодым не сворачивать. А дай он волю чувствам глупым и похоти – и судьба его молодая по другому б пути

пошла, и сложилась совсем иначе...

А у Чарской всё было наоборот: её чувства как море взбесившееся захлёстывали. И спрятаться ей от них и не за что было, да и не хотелось совсем. Ведь она была женщиной, девишкой молодой, до любви и чувственной страсти жадной, соком, силой и похотью обильно наполнившейся за девятый класс, готовность к родам, к продолжению жизни почувствовавшей. И её университетом отроческим, единственной целью и смыслом был в ту последнюю школьную осень Стеблов, которым она заболела когда-то на свою беду и которому всю себя отдавала и посвящала.

У народов востока, у арабов в частности, существует по этому поводу пословица замечательная, нравоучительная, что мужчина-мусульманин, мол, муж и хозяин семейства должен смотреть на Бога всю жизнь, стремиться к Всевышнему, воссоединиться с ним жаждать через суровую земную аскезу и подвиг. А его женщина, жена-мусульманка, должна смотреть исключительно на него одного и ни на кого больше. Для восточной женщины Бог — её муж: это там у них аксиома незыблемая и безоговорочная, которой все правоверные неукоснительно следуют и подчиняются.

Вот по такому правилу или закону нравственному Чарская и жила, по сути, так на парней и на мир чудесно смотрела; как и на своё место, верование и поведение. И вины

её в подобном мировоззрении нет никакой. Как нет, разумеется, и заслуги: так её Господь-Вседержитель создал. Она ежедневно ходила за Вадимом как собачонка, думала о нём непрерывно, мечтала и дома, и на уроках – и всё никак не могла насытиться им, налюбоваться и намечтаться, душою нарадоваться-насладиться – и почуять предел. Она наплевала на гордость свою, девичье достоинство, честь: ходила и ходила за ним ежедневно под смех и ухмылки пошлые, что сыпались на её голову со всех сторон, что её даже чуть-чуть обижали и унижали.

Ничего большего сделать она не могла, к сожалению, при всём её, так сказать, хотении и старании. Не могла подойти и сама себя предложить Стеблову – свою дружбу верную, любовь необъятную и неугасимую до гроба, выше которой нет, не было и не будет ничего на свете. Ибо, как в известной песне поётся, *«даже и звёзды не выше любви»*. Она понимала, чувствовала нутром, что, однажды опустившись так низко, она наверняка станет противной ему, пошловато-простой и не симпатичной; боялась, что Вадик начнёт её после этого презирать, а то и совсем разлюбит! А такого ужасного для себя исхода она допустить никак не могла: это было бы для неё смерти подобно.

Потому-то она ни разу и не перешла черту, за которой их любовь быстро закончилась бы, вероятно. Потому лишь только ходила за ним и к нему – и ждала, всё время ждала момента, который соединил бы их простым и естествен-

ным образом, хоть на мгновение малое сблизил обоих. Чтобы смогла она в этот короткий временной промежуток разом выплеснуть на Стеблова свою огромных размеров любовь, огнедышащую как лава, всё на свете сметающую и испепеляющую, которая его сердце каменное, наконец, растопит и в податливый пластилин превратит...

Таким благоприятным и крайне удобным для любовных дел и историй моментом вполне мог бы стать осенний бал старшеклассников, ежегодно проводившийся в школе в начале второй четверти. Но на этот бал, к которому она за неделю начала подготовку, Вадик не пришёл по причине отсутствия в городе, чем её огорчил несказанно, расстроил почти до слёз.

Получилось же тогда вот что, если коротко ту историю передать, двумя-тремя словами. Родители Стеблова ездили в деревню к родственникам – отмечать большой православный праздник Покров, и забрали детей с собой по обыкновению, желая приобщить их таким манером к национальной русской культуре, к русской православной традиции. Отказаться от поездки было нельзя: верующие с малолетства отец и мать, оба с рождения крещёные и сами потом крестившие всех поголовно детей, не приняли бы никаких отговорок. И уехавший в деревню Вадик осенний бал пропустил, на который, в принципе, с друзьями идти настраивался.

Чарская ничего про это не знала, разумеется, неделю го-



товилась к балу, поставила на него всё; сидела и ждала Стеблова весь вечер у входа, и даже посылала подружку Людмилу к Макаревичу на разведку, чтобы та выведала у Серёжки: почему-де товарища его нет? что с ним такое стряслось? и стряслось ли?

Но ничего не знавший про внезапный отъезд друга Серёжка только плечами удивлённо жал и отвечал, что и сам ошарашен отсутствием в зале Вадика, утверждал, что тот обещал-де прийти... И несчастная Лариса так и просидела до конца танцевального вечера у дверей: бледнела, кисла, очень расстраивалась, с досады пухлые губки кусала – и всё ждала, нетерпеливо ждала мил-друга загулявшего, на удачу надеялась...

Но мил-дружок на осеннем балу так и не появился, увы. По уважительной, так сказать, причине. И расстроенная до крайности Чарская, у которой рушились планы и всё валилось из рук, начала после этого ещё настойчивее его преследовать в школе, ещё откровеннее, ещё жарче не переменах и на улице на него смотреть – наизнанку будто бы перед ним выворачиваться... И при этом готовиться тайно к последней своей надежде – *новогоднему* школьному балу, на который она опять поставила всё и который ждала как самого главного чуда, дорогого подарка какого-нибудь или той же весны. Или как ждёт тяжело больной чудесного исцеления.

Затягивать далее с делами сердечными ей было уже нель-

зя: это-то она хорошо понимала. Ведь до конца учебного года и школы оставалось всего ничего – несколько календарных месяцев. И если она не решит на балу всё что наметила для себя, к чему с седьмого класса стремилась, – она потеряет Вадика навсегда, и больше его никогда уже не увидит.

От ужасающей мысли и перспективы такой её бросало то в жар, то в леденящий душу и тело холод. Мало того, одержимой и бесстрашной делало день ото дня, способной на подвиги, на безрассудство.

Со стороны всю первую половину 10-го класса она в точности угарную женщину-брошенку напоминала, у которой рушилась на глазах семья. Причём, по самой простой и банальной причине: любимый, но ветреный и развратный муж на сторону будто бы намылился, кобелина, к другой, молодой, наострил лыжи, гад, клюнув на сладенькое, на “клубничку”. И она, обезумев от горя и от безденежья, от обиды жгучей, волю собрав в кулак, силы, всеми правдами и неправдами вознамерилась его назад возвратить – чтобы и жизнь привычную, сытую и спокойную, себе продлить; и не оставаться под старость у разбитого и гнилого корыта...

Единственным человеком из прежней школы, с кем учившийся в интернате Стеблов регулярно перезванивался и встречался, когда приезжал домой отдохнуть, был Збруев Сашка – закадычный его дружок в недалёком прошлом, наперсник бывший, почти что родственник, математики и физики большой знаток, их местный в этих предметов дока. Памятуя о том, что многим лично ему и его семье был обязан, и не желая зазнайкой столичным прослыть, выскочкой-гордецом, Вадик, отбирая у домочадцев время, всегда приходил к нему на осенних, зимних и весенних каникулах и подолгу беседовал о Москве и интернате московском, в который Сашка пробовал, но так и не смог поступить, и про который ему побольше узнать, как казалось, будет особенно интересно.

Вот Вадик и старался изо всех сил: напрягал всё своё красноречие и фантазию. Во время тех встреч он с жаром рассказывал другу о новой школе и своих впечатлениях о ней, самых ярких, сногшибательных и умопомрачительных, естественно, о товарищах и преподавателях тамошних и их мудрёных программах. Об академике Колмогорове, перво-наперво, очень много и кучеряво всякий раз говорил, козырял-хвастался им, небожителем, перед неудачливым Сашкой. Хвастался, что слушает-де его на лекциях постоянно,

а потом регулярно общается с ним в перерывах, беседует про учебники и книжки новые, про задачи и проблемы математические, которые-де на повестке дня в полный рост стоят и которые в будущем обязательно нужно будет решить молодым учёным страны, славным советским математикам. Рассказывал много чего немыслимого и диковинного, одним словом, подробно и через чур восторженно по обыкновению, с придумками неперменными и прикрасами, вставляя в рассказы одно лишь хорошее, разумеется, идеальное и желаемое, и скрывая плохое и непривлекательное, интернатовский негатив, – чтобы и школу прославленную ненароком не очернить, и у Збруева радости этим не вызвать.

Слушая байки московские, расчудесные, Сашка ядовито супился и ухмылялся язвительно, вечно подтрунивал над восторженным Вадиком и не верил, что всё у них в интернате так распрекрасно и разумно устроено, как у царя за пазухой, и такие они все счастливые и гениальные там, как дружок в разговорах описывал.

«Послушать тебя, – ехидно скалился он, – так у вас там не школа, а прямо-таки рай земной, этакий благодатный уголок Божий и, одновременно, центр мироздания, инкубатор талантов; преподаватели и воспитатели – паиньки, а ученики – все сплошь гении, звёзды и вундеркинды. Новые Колмогоровы все! – ни дать, ни взять. Или Капицы... Извини, но такого не бывает, – отсмеявшись, добавлял он холодно. – Потому что такого не может быть никогда...»

И это было самое безобидное из того, что говорил про интернат завистник и циник Сашка, какое итоговое резюме выводил...

Стеблова и коробили, и обижали до глубины души Сашкины насмешки и колкости, оскорбительные для него и его новой школы; обижало и само недоверие, и цинизм, что Сашка открыто ему высказывал дома. Не то хотелось услышать и почувствовать новоиспечённому москвичу Вадику в моменты их встреч, не то мечталось подметить в Сашкином прищуренном взгляде.

«Да кто он такой, в самом деле, чтобы не верить мне, за дурачка меня держать, или идиота полного?! Чтобы так открыто и высокомерно, главное, над Москвой насмехаться, над интернатом тем же, о котором он понятия не имеет, даже и приблизительно не может представить себе, куда его и на порог не пустят?! – всегда думал он с раздражением после подобных бесед, возвращаясь домой раздосадованным и взведённым до крайности. – Заморыш плюгавый и недоношенный! Сопля на двух лапках! Цыплёнок! Самого даже в летнюю школу не вызвали, не посчитали нужным, куда, как я теперь понимаю, приглашали всех, кто хоть чем-то себя на экзаменах проявил, хоть половину задачек решил, хоть даже и четверть! А теперь он, видите ли, сидит и ухмыляется с недоверием, головой машет, язвит! Показывает всем видом своим саркастическим, что вроде как все у нас там – ду-

рачки, а он один – умный! Гений дворового разлива, дебил недоделанный, лузер!»

Стеблов злился, нервничал всякий раз: после каждой такой запланированной с прежним товарищем встречи, – но Збруеву своего раздражения не высказывал никогда – держался. Хотя в душе всё более и более охладевал к нему, с трудом уже перенося к весне ближе и Сашкин глубинный цинизм с природной ядовитостью вперемешку, и его смердящее высокомерие.

Отношения их после отъезда Стеблова в Москву быстро натягивались и охлаждались...

По-другому, впрочем, и быть не могло, если коротко вспомнить биографии двух этих парней, историю их знакомства, сближения, дружбы.

Кто такой был Вадик Стеблов, давайте подумаем, что представлял собой в классе и в школе, когда на факультативе Лагутиной в начале 8-го класса впервые познакомился и подружился с Сашкой? Хороший ученик, не более того, каких у них при желании пару-тройку десятков смело можно было набрать, не погрешив против истины... Конечно, ВЗМШ взбодрила и приподняла его, – это правда. В собственных глазах, прежде всего, в самооценках и самосознании. Попутно ещё и мобилизовала и дисциплинировала предельно, запалила душу священным горним огнём, от занятий спортом навсегда отвадила, – о чём подробно писалось.

Но даже и после этого он своего *срединного* статуса не поменял в глазах друзей и учителей, в классе особенно не выделялся, не петушился и не егозил – избави Бог! – лидера из себя не строил. И никогда не обманывался на свой счёт, не питал относительно скромной своей персоны иллюзий. А свои наличные способности к математике за таковые очень долго не признавал: пока уж на работу ни вышел и с другими там себя ни сравнил, абсолютно бездарными и никудышными выпускниками известных столичных вузов. До этого же он совершенно искренне подменял их, способности, в своей детско-отроческой голове, а потом и в сознании юношеском одним лишь упорством внутренним, исключительным старанием, усидчивостью и любовью...

Збруев же Сашка, наоборот, уже с пятого класса ходил у них в школе в “гениях” и “вундеркиндах”, если помните, маску которых – без лишней скромности и стеснения! – он лихо так на себя водрузил и носил потом как родную все школьные годы. И математик-то он гениальный, заоблачный, и шахматист, – трезвонили учителя и завучи в один голос, – и просто расчудесный во всех отношениях мальчик-паинька, с которого-де нужно брать пример, на которого необходимо равняться.

Пропаганда збруевской “гениальности” результаты давала блестящие. Выражались они хотя бы в том уже, что в момент своего с Сашкой знакомства заговорённый педагогами Стеблов стал автоматически смотреть на этого неказистого и

вертлявого паренька снизу вверх, как на заведомо более талантливом и даровитом. Хотя уже и тогда в интеллектуальном плане не сильно ему уступал, а физически был здоровее и выше откровенного доходяги Сашки на целую голову.

Где Сашка действительно преуспел и превзошёл его, – так это в познавательном и культурном плане: там он с очевидностью был подкован лучше. Из-за чего при решении некоторых нестандартных задач мог уверенно применять такие теоремы и правила, и формулы замысловатые, про которые Стеблов не слышал ничего и не знал, которые им не объясняла Лагутина...

Быстро всё это подметив, он, пристыженный и оконфуженный, кинулся за Сашкой вдогонку. И приснопамятный восьмой класс в этом плане стал для него переломным. Он не шёл, а летел к знанию, к свету, к вершинам элементарной математики, работая как одержимый весь год и решительно отодвинув в сторону забавы прежние и пристрастия.

Цель была у него одна, великая и благая: поскорее образоваться, ликвидировать невежество собственное и бескультурье, и Сашкино над собой превосходство, которое ему не нравилось совсем, подсознательно его обижало и унижало. Но и, одновременно, куражом наполняло душу, азартом – как в спорте, как некогда в лыжах любимых, где он всех хотел перегнать, победить, стать чемпионом.

Ему всё удавалось в тот год, ладилось без проблем, спорилось и получалось. Он поднимал без устали свою *матема-*



*тическую целину*, без слёз, истерик и жалоб: ему помогали в этом контрольные из ВЗМШ и Сашкины бесценные книги. Да и сам он здорово ему помогал имевшейся у него информацией: что почитать советовал и порешать, выучить и запомнить как первоочередное и важное, и на что особое обратить внимание.

И Стеблов был от души благодарен ему за это, ему и его семье, что на весь город у них гремела, или на большую его половину. Там Вадика хорошо принимали всегда – на удивление хорошо, ну просто на удивление! А почему? – непонятно. Загадка Судьбы!...

Ежедневный упорный труд, энтузиазм великий и вдохновение без пользы для него не прошли и в Лету бесследно не канули, слава Богу. К концу восьмилетки возмужавший, окрепший и оперившийся в культурно-познавательном плане Вадик догнал по знаниям своего “гениального” друга, сравнялся в математике с ним, а кое в чём даже и превзошёл благодаря учёбе в заочной университетской школе. И даже начал консультировать Сашку по наиболее сложным темам и решению некоторых задач, которые тот самостоятельно осилить не мог, где уже даже и матушка ему была помочь не в силах.

Надо признаться, что догнать Збруева оказалось не сложным делом – потому как интеллектуальные Сашкины кладовые не были столь уж велики и обильны, как думалось непо-

свящённым людям; как не были глубоки и извилисты и его мозги и аналитические способности. К тому же, повторим, он был вертляв от природы, ленив и неусидчив до крайности, был совершенно не приучен к труду: к тяжести его изматывающей, его мозолям и поту. Он, как глупый птенец из гнезда, привык все знания получать от матери: чтобы та по-птичьи подлетела стремительно в нужный момент и самостоятельно их в него запихнула, предварительно знания разжевав. А он их только бы заглатывал и заглатывал, не напрягаясь и разу не поперхнувшись...

Но даже и после этого – после своих несомненных успехов и прогресса блестящего и очевидного – Стеблов продолжал относиться к Сашке подчёркнуто уважительно, а в общении продолжал смотреть на него, как и раньше, снизу вверх. И, как и раньше же, считать его для себя за несомненного лидера и безоговорочный авторитет. Пусть только и в математике

Это, по сути, делалось им автоматически, по накатанной, так сказать, дорожке. И самолюбия его природного, не маленького совсем, это не ущемляло ни сколько. Он был благодарен Сашке за прожитый год, за знания, полученные от него и книги; и всё ещё дорожил, гордился перед другими и крепкою дружбою с ним, и ежедневным общением.

Весь восьмой класс он с гордостью разгуливал с Сашкой по школе почти что каждую перемену, как равный разговаривал с мамой его на школьном дворе, с гордостью приходил в их дом, здоровался там за руку с Иваном Ивановичем, от-

цом Сашки.

Дружба со Збруевыми была честью для Вадика – и милостью с их стороны: они ведь подняли его до себя, возвысили несказанно; они распахнули ему, чумазому, жаркие свои объятия.

Вадик помнил об этом всегда и был от души благодарен им. Он был благодарным человеком по натуре своей... и очень и очень внимательным...

Идиллию в их отношениях безжалостно интернат разрушил, куда Стеблов один, без Збруева поступил, куда в одиночку же и учиться уехал. Это нерядовое событие стало для Сашки такой оплеухой болезненной и плохо-переносимой, от которой он долго не мог отойти, которая весь девятый класс, почитай, ему беззаботно жить и учиться мешала, терзая его душу и сердце самолюбивое, гордое, обидой жгучей и завистью.

Понять Збруева было можно, конечно же, – и пожалуй, посочувствовать, словом добрым утешить, если уж не помочь. И то сказать: целый год он нянчился с Вадиком – подсказывал, просвещал, советовал, книги редкие без сожаления и проблем поставлял из домашней библиотеки, в областной центр на экзамены в тот же интернат возил через хлопоты матери, сделал его товарищем первым, как равного ввёл в свой дом, познакомил и подружил с родителями. Какую честь он этим ему оказал, как одолжил его – плебея зачуханного и беспородного!

И вдруг этот выскочка и плебей, деревенский лапотник-балагур чумазый, всегда послушный и недалёкий, и предельно-покладистый, от которого навозом за версту пахло вперемешку с квасом, такое позволил себе учудить – обойти друга-Сашку на повороте! Это он-то, чучело и лох поганый,

Иванушка-дурачок без роду и племени, клоун бесплатный, потешный, годный лишь для разудалых игрищ и забав, и развлечений шумных, послеурочных! – на какое место, скорее всего, его родители Збруевы и определили подле одинокого сына! А этот дурачок-Ваня, свинтус немытый и неухоженный, нищий, едет в Москву учиться, в лучшую школу страны, хлопая их всех по носу. Что за невидаль и за дикость такая, замешанная на несправедливости?! Почему именно он превращается в принца сказочного на глазах у всех, в царевича-Ивана?! За что это ему такие заслуги необъяснимые, и такая фортуна по жизни выпали?!... И почему образованный наставник его, “гениальный во всех отношениях” Сашка по какой-то непонятной причине остаётся дома ни с чем?! – продолжать рассказывать далее одноклассникам и соседям байки про свою гениальность и свой неземной талант! Как оказалось: вилами на воде писанный.

Да, безусловно, большего унижения с оскорблением для болезненно-самолюбивого Сашки, на своей исключительности помешенного, своём уме, и придумать было нельзя: такое ему могло разве что в страшном сне привидеться. Он – в шоке, унижен и подавлен до крайности, взвинчен, агрессивен и зол. Он начинает активно дружка своего, выскочку беспородного, за глаза хулить и чернить: усиленно распускать вместе с матерью слухи по городу, что это он-де Стеблову на мартовских экзаменах все конкурсные задачи решил, и тот поступил из-за этого. Ему, мол, решил, а себе не успел;

вот и остался по своей доброте на бобах: из-за того, мол, что дружбу выше всего поставил, выше выгоды личной...

Нервозное и язвительное, а часто и злое по отношению к себе поведение, которое регулярно встречавшийся с Сашкой Стеблов постоянно на себе ощущал, когда приезжал домой на побывку и к Збруевым в гости ходил, было ему неприятно, естественно.

«Я что ли виноват в том, – про себя всякий раз возмущался он, – что его в интернат не приняли? что на экзаменах прокатили со свистом? Не я те экзамены принимал, и не я ему низкие баллы ставил».

Но, повозмущавшись и погневавшись втихомолку на улице, он Сашку всегда прощал – потому что жалел его, понимая истоки его нервозности и агрессии; хорошо понимая также, что должно было твориться в его оскорблённой в лучших чувствах душе, в которую столичные экзаменаторы по сути дела взяли и плюнули. Вообще, он многое спускал Збруеву весь девятый класс, уступал в разговорах часто, великодушным стараясь быть, как и все победители.

Помогали ему здесь Москва, необъятной советской страны столица, и, конечно же, Московский государственный Университет, первый вуз мира, – такие величественные во все времена, неповторимо-прекрасные, мудрые, гордые; на благородство и милосердие щедрые, плюс ко всему, на особую столичную терпимость и теплоту, столичную же снисхо-

дительность. Они не позволяли ему дома нервничать и забывать про то, что он заслуженно стал москвичом, как-никак, и наполовину студентом; а, значит, и вести себя должен соответствующим образом: высоко держать столичную марку и не опускаться до зависти, злобы и склок, и выяснения отношений.

Он и держал, как умел, как ему совесть его подсказывала; равно как и воспитание, полученное от родителей. Поэтому и не обращал внимания, или старался не обращать на друга неудачливого и его выходки дерзкие, предельно-ядовитые и нестерпимые порой. Ругаться с ним, ставить Сашку на место казалось ему делом низким и недостойным.

Друг его безнадёжно отстал и остался в прошлом. И чего на него, стало быть, повышенное внимание-то обращать, закомплексованного истерика, неудачника и невежду? Он всё больше превращался в карлика в глазах Стеблова, кто в Москве отчаянно и безрассудно великаном силится стать, гигантом мысли и духа...

Но даже и после этого Вадик не хотел прерывать отношений со Збруевым. Как не хотел он рвать отношений с домом, семьёй, родным городом – со всем тем, одним словом, с чем он был кровно связан. Он просто пытался, не торопясь и имея полное право на это, выстроить их отношения по-новому: с учётом тех реалий и изменений существенных, что с ним и с Сашкой произошли.

Реалии же таковы были, что он жил и учился теперь в Москве, интеллектуальном и культурном мировом центре. Советская столица, помимо прочего, дала ему счастливую возможность узнать много-много новых людей – по-настоящему и замечательных, и даровитых, увлечённых делом по-максимуму, “по-взрослому” что называется, – которые самолюбивому его дружку и не снились даже, пред которыми он был плебеем, духовным и телесным ничтожеством, абсолютным нулём.

И книжки Вадик начал читать и скупать диковинные, достаточно редкие, про которые провинциал-Сашка ничего не слышал, не знал; и задачи решать университетские, наитруднейшие; и информацией научной и околонаучной владел такой, о которой у оставшегося дома друга не было никакого понятия.

И получалось, что Вадик уже не нуждался в Сашке как в научно-познавательном “экскурсоводе”, советчике добром и информаторе, надёжном поставщике математических знаний и литературы. А другого в нём и не было ничего, увы!

Он даже и соратником-единоверцем быть перестал – после того как дома остался, а Вадик уехал учиться в Москву...

А коли так, то и незачем Вадику дальше притворяться было и делать вид, что он по-прежнему боготворит Сашку, большим математиком считает его, гением всех времён и народов; и уж тем более – своим духовным и научным вождём. Наоборот, он уже открыто стал показывать Збруеву, что ни



тем, ни другим, ни третьим он его давно уже не считает, не желает считать. Он становился уже москвичом – и по местожительству, и по духу, и по всему остальному. А когда это москвичи лебезили и кланялись перед провинциалами!...

Эта-то зарождавшаяся *столичность* Стеблова прямо-таки бесила Сашку, сводила с ума, завистливым неврастеником делала, бякой и букой. Как бесили его проявлявшиеся всё больше и больше независимость и норы Вадика, его упорное стремление к равенству, к паритету личностному.

Сашка как мог сопротивлялся этому, отчаянно надстраивал под собой пьедестал до прежнего недостижимого уровня. Но силёнок у него не хватало, совсем: он слабеньким от природы был, хиленьким. Отсюда – его злость и яд, наскоки нервные и уколы...

Вадик всё это терпел до поры до времени – и не обижался в открытую, не останавливал и не осаживал хамоватого друга, как тот того заслуживал по всем правилам и статьям. Потому что, повторимся, жалел его, и относился к нему весь девятый класс как к убогому и глубоко-несчастному человеку, за что-то обиженному судьбой.

А убогий – он убогий и есть. Взять с него, бедолаги, нечего. Убогих на Руси жалели всегда, всё им прощали. Потому как и Россия сама – подножие Престола Господня...

Сашкино время настало тогда, когда он, закончив девятый класс и перейдя в десятый, узнал в июне от приехавшего из Москвы Стеблова, что тот не собирается возвращаться туда, что будет оканчивать среднюю школу дома.

Вот когда оживился, воскрес и расправил плечи Сашка, и прямо-таки воссиял душой; и, одновременно, вознамерился взять реванш за обиды прежние, нешуточные, и унижения, за поруганную Вадиком честь.

Вернувшийся домой Вадик потерял в его глазах главный козырь – статус москвича; а взамен приобрёл иной – статус неудачника и нетяга. И это позволило Збруеву предельно раскрепоститься и распоясаться, набрать прежнюю силу и власть. Он буром попёр на возвратившегося ни с чем дружка, теряя чувство реальности, чувство меры. Он изо всех сил попытался поставить выскочку и гордеца Стеблова на подобающее ему место, какое он Вадiku ещё в восьмом классе определил, и какое тот безропотно тогда занял. «Вот видите, – стал распускать он по городу слухи. – Я же говорил, что это я ему на экзаменах в интернат все задачи решил, что без меня его туда и на пушечный выстрел не подпустили бы».

Но слухи – слухами, обиды – обидами, подковёрные дела – делами, а счастья утерянного не вернёшь, как известно, и в одну речку не ступишь дважды. Вадик уже был не тот зе-

лѐный и скромный мальчик, каким его Збруев знал, каким держал подле, и становиться подстилкой Сашкиной второй раз он желания не испытывал. Интернат ему на многое глаза открыл: он вернулся оттуда совершенно другим человеком.

Да, он покинул столицу, спецшколу тамошнюю, и перестал на какое-то время быть москвичом, – но это ничего ровным счётом не значило, ни-че-го! Зато он понял прекрасно, как по прейскуранту прочёл истинную цену Збруеву, и выстраивать новые отношения собирался только лишь в соответствии с этой, реальной, ценой, а не с его желаниями и капризами, и амбициями копеечными, напускными, которым место было в детском саду, а уж никак не в школе. Да ещё и в последнем, выпускном классе, да после красавицы-Москвы. Капризы, амбиции и ежедневные взбрыки Сашкины он терпеть теперь не намерен был, даже и на время сравнившись с ним в статусе, – решительно не намерен!...

Такое поведение Вадика было в новинку для Збруева, было ему, патологическому себялюбцу и гордецу, привыкшему к первенству в классе и школе, что нож острый. Как боль зубная оно его коробило и раздражало, провоцировало на агрессию, на борьбу, на расправу скорую и жестокую. На этой почве у них почти сразу же стали возникать конфликты, причём – конфликты довольно серьёзные.

И так же быстро, как в начале восьмого класса Вадик сблизился и сдружился с Сашкой, он приобрёл в начале клас-

са десятого заклЯтого себе в его конопатом лице врага – злопамятного, подлого и упорного, как порточная вошь – вонючего. Хотя и мелкого и ничтожного, как всё та же вошь, про которую и рассказывать-то совестно.

Но и это было лишь полбеда и только часть неприятностей, что ожидали Вадика в выпускном классе на родине. Куда более страшным для него врагом оказалась Сашкина мать, Тамара Самсоновна, коварство и силу которой ближе к Новому году он испытал на себе в полной мере, которая нервы ему и его семье изрядно попортила и потрепала, память недобрую по себе на всю жизнь оставив...

Вообще же, странные отношения сложились в июне у двух закадычных прежде друзей, странные и противоестественные. Оба были вынуждены притворяться друзьями, делать вид, что друг в друге нуждаются, и по-прежнему не могут друг без друга жить, – но у каждого в тот момент лежало уже по большому камню за пазухой, каждый был глубоко недоволен другим, тяготился прежним товарищем, искал повода рассориться и расстаться. И достаточно было малой искорки, чтобы разразилась буря, способная кардинально всё изменить: сделать положение естественным и нормальным...

Такая искра меж ними вспыхнула скоро: недели через три по возвращении Вадика, – и случилось тогда вот что. Всегда страдавший физической немощью Сашка, о чём подробно рассказывалось в первых главах, по совету родителей решил

за лето поправить здоровье, укрепиться перед десятым классом, где его поочерёдно ожидали выпускные и конкурсные экзамены. Укрепляться же он решил разными способами, в том числе – и посредством утренних пробежек. На них-то он и пригласил Стеблова, памятуя, что они оба в восьмом классе ещё проделывали уже подобный трюк, практиковались в беге трусцой в парке.

– Давай с тобой по утрам опять пораньше вставать начнём – кроссы бегать, как когда-то бегали, помнишь? – однажды предложил он отдохнувшему от интерната другу. – Жирок свой порастрясём, кислородом подышим, прохладой утренней, которая нас взбодрит, здоровьем и силой наполнит. Заодно и кровь погоняем по жилам, вены от шлаков освободим, что тоже для организма полезно, что нам на пользу пойдёт. У меня отец вон уже пару лет как бежит перед работой, не прекращает: а он ведь с нами вместе когда-то ещё начинал. Так ему потом заряда бодрости, как он утверждает, на целый день хватает.

Предложение Сашкино стало для Вадика сюрпризом неприятнейшим, и сразу же не понравилось ему, чуть-чуть покорило даже. Начинать рано утром просыпаться опять после годовой муштры интернатовской, бежать в сырой парк спросонья и носиться там по аллеям кругами как двум собакам гончим – нет, это восторга в нём не вызвало ни грамма, скорее даже наоборот. За лето ему хотелось как следует выспаться в родном доме, на кровати родительской подоль-

ше понежиться-повалиться, от чего он на чужбине отвык. А тут нате вам: снова начнутся ранние подъёмы по будильнику, нервозность, суета, беготня. На кой ляд ему это всё было нужно – головоломная свистопляска такая? Какая от неё польза? Он-то уже набегался в Москве от души, набегался и навставался.

–...А чего обязательно утром-то? – пошмыгав носом и по-соображав, все плюсы и минусы быстро взвесив, спросил он невесело Сашку. – Утром в парк и заходить-то страшно: туман как в финской бане стеною стоит, холодно, сыро, мрачно. Я же всё это уже проходил, когда лыжами занимался. Да и папаня твой подтвердит: спроси у него, если мне не веришь. Давай лучше бегать днем, если так бегать хочется. И выспаться успеем оба, и тепло уже будет, солнечно.

– Да-ну-у-у, днём! – решительно отмахнулся Збруев. – Днем солнце палить начнёт как бешенное – и бегать-то не захочется... А потом днём в парке народу знаешь сколько гуляет?! Как на дурачков похмельных будут на нас глядеть, с вечера бормоты пережравших... Не-е-ет, лучше утром давай, пораньше. У нас **утром** все нормальные люди бегают, до работы...

Что было делать Вадик у после всех этих слов? Хочешь – не хочешь, а соглашайся.

–...Ладно, давай. Утром, так утром, – с неохотой согласился он, по привычке всё ещё уступая Сашке. – Забегай за мной завтра: тебе по дороге...

Сашка и забежал на другой день, в семь утра ровно, когда разбуженный матерью Вадик только-только с кровати поднялся, только-только глаза продрал, не успев ещё даже умыться. И друзья, поздоровавшись нехотя и без приязни, трусцой направились к кутившемуся утренней свежестью пруду, над которым тёмной могучей громадой их красавец-парк нависал, как и пруд весь молочным паром окутанный и благоухавший. Холодно было в нём на заре, как и предупреждал Стеблов, одиноко, бесприютно и сыро. Стеблову не нравилась та утомительная беготня: отвык он в Москве совсем даже и трусцой бегать; и балаболку Сашку слушать отвык, что без усталости трещал рядом.

В итоге, пробегали они так три раза, три июньских утра подряд неугомонный Збруев Вадику спать не давал, с постели его поднимал спозаранку, испытывая волю его и терпение. И кто знает, насколько бы Вадика хватило ещё, сколько б пробежек совершенно не нужных и утомительных он по доброте душевной вытерпел, — если бы не одна ядовитая и оскорбительная Сашкина выходка, которую тот позволил себе на третий день, и которая больно, до крови почти, резанула Стеблова по сердцу.

Во время памятной той пробежки разговор у них как-то невольно про Москву зашёл. Ну и Стеблов по привычке стал восторженно и уважительно говорить о своей бывшей школе, о талантливых парнях и девушках, что остались учиться там

и которые его своими способностями и талантам с первого дня поражали.

– Да хватит тебе про свой интернат сказки-то нам тут рассказывать: надоело слушать уже! – грубо оборвал его Сашка, почему-то вдруг взъерепенившийся. – Прямо все такие гении у вас там собрались, что аж страшно!... Чего же ты тогда убежал-то оттуда – от гениев-то своих?! Чего к нам, дуракам, вернулся?! Ну и учился бы там до конца, ума-разума набирался и с ними со всеми ежедневно общался-слонявился.

Довольный сказанным Сашка умолк, гордый пощёчиной, что влепил другу, и, сопя и фыркая как старая кляча, побежал себе преспокойненько дальше, тяжело переставляя ноги: пробежки утренние ему, дохляку, давались с большим трудом и напрягом... Умолк вместе с ним и Вадик, обиженный до глубины души, до кончиков волос возмущившийся. Лицо его, румяное и здоровое прежде, после Сашкиной реплики сделалось безжизненным, серым, больным, а потом и совсем почернело как у покойника – так ему тогда плохо стало, так на душе и на сердце противно и гадко до тошноты. Он не проронил после этого ни единого слова, даже и не повернул ни разу в сторону товарища головы. Молча бежал до самого дома, хмурился, досадливо зубами скрипел – и думал: всё удивлялся, понять и представить не мог, как это он умудрился так близко однажды сойтись с этим ядовитым и злобным типом, подпасть под его влияние даже; как выносил безропотно и терпеливо двухгодичное общение с ним. Ведь



он одну лишь брезгливость вперемишку с гадливостью в нём теперь вызывал, и какое-то глубинное, на подсознательном уровне, отвращение...

Со Збруевым он простился холодно возле своей калитки, даже и при расставании не пожелав взглянув на него, удостоить взгляда.

– Ну что, завтра как обычно, в семь? – спросил почуявший неладное Сашка.

– Да, в семь, – на бегу с неохотой бросил Вадик, с облегчением расставаясь и прячась от ненавистного дружка за забором.

–...Фу! – радостно выдохнул он, забежав домой, как от собаки бешеной дома от Сашки спрятавшись, и тут же обратился с наказом к поджидавшим его на кухне завтракать брату и сестре: – Если Збруев будет сегодня звонить по телефону, – строго стал наставлять он их, – меня нет дома. Ушёл я, уехал, нет меня! И буду когда – неизвестно! Для него меня теперь нет! И никогда не будет!... Вот гнида сушёная, недоношенная!...

Вечером он с похвоею просьбой обратился к пришедшей с работы матушке.

– Мам! – с жаром сказал он ей, лишь только Антонина Николаевна показалась на пороге дома. – Завтра утром ко мне Збруев опять прибежит: в парк будет звать как обычно. Так ты скажи ему, что меня нет, что убежал я уже, его не дождавшись. Встал, мол, что-то сегодня рано, ждал-ждал – и

убежал, не вытерпев. Пусть он домой возвращается, или же один бегают, как хочет.

— А что у вас с ним случилось-то? — встревожено посмотрела на сына уставшая за день мать.

—...Да-а-а ничего особенного, — замялся Вадик, глаза отводя в сторону. — Надоел он мне просто, сил нет. Злобный какой-то стал, ядовитый как гриб мухомор, насмешливый! Слова по-человечески уже не может сказать: всё с наскоком да с подковыркой. Видеть его не могу, поганца, его морду конопатую и ехидную. Скучно мне стало с ним — и до тошноты противно!

—...Ну, подожди, Вадик, не горячись, не наговаривай лишнего на хорошего мальчика, с которым вы так крепко дружили ещё совсем недавно, и, надеюсь, будете продолжать дружить: задачки опять решать будете, к экзаменам в институт готовиться, — сбитая с толку мать окончательно растерялась. — Ты преувеличиваешь, наверное, всё, и усложняешь. Ну, поссорились из-за чего-то сегодня, — ну и что? Все ссорятся — и мирятся потом. И вы завтра помиритесь, я уверена, когда вместе по парку побегаете, поговорите с ним по душам. Не нужно только так резко действовать, как хочешь ты, не нужно по живому рубить — это будет вам обоим больно.

— Да не помиримся мы никогда! И никогда уже не подружимся с язвой такой! таким подлым и завистливым типусом! Про какие задачи ты говоришь, мам?! какой институт?! — когда мы готовы уже с ним подраться! физиономию набить

друг другу! Вот ведь уже дело к чему идёт! чем всё может кончиться!...

Антонина Николаевна из сказанного не всё поняла, но почувствовала: дело серьёзно. Таким возбуждённым и злым она старшего сына давно уж не видела, давно его так никто не бесил.

—...Ну-у-у, а может тебе тогда самому ему позвонить и сказать, чтобы не приходил больше? что тебе не хочется бегать? что надоело, мол, и всё такое? — неуверенно посоветовала она, на первенца посмотрев болезненно.

— Как я ему это скажу, мам, как?! — насмешливо скривился Вадик. — Открытым текстом прямо?! Иди ты, дескать, куда подальше, парень, и больше не приставай ко мне со своею дружбой?! Это уж слишком будет, как ты понимаешь: это будет война.

—...Ладно, — после некоторой паузы согласилась расстроенная разговором матушка, которой и жаль было старшего сына, очень жаль: она его так любила! — но которая понимала одновременно, что на её глазах и при её попустительстве затевается что-то неправильное и недостойное, что может аукнуться им обоим потом. — Так и быть: скажу ему завтра, что нет тебя. А там уж пусть будет, как будет...

На другое утро, как только Збруев в семь часов ровно позвонил в дверь, она вышла ему навстречу и, краснея и смущаясь, сказала, что Вадик сегодня встал рано, ждал Сашку,

ждал... и потом, не дождавшись, решил убежать один – чтобы время не терять даром.

– Он тебе велел передать, – сказала мать напоследок, под ноги себе смотря, – чтобы ты его догонял, что вы с ним там, в парке, встретитесь.

Удивлённый и обескураженный Сашка бросился в парк со всех ног, ничего не понимая из происходящего, бегал там, бегал в одиночестве, зорко оглядываясь по сторонам, по прохладно-пустынным аллеям глазами цепкими шаря в поисках исчезнувшего друга; весь парк из конца в конец обежал и, не встретив его в итоге, назад один воротился.

– Ты где утром сегодня был-то, скажи? – позвонил он ему по телефону из дома, едва успев спортивный костюм снять, и даже ещё и не умывшись.

– В парке бегал, – спокойно соврал Стеблов, звонком и вопросом таким не довольный.

– Где же ты там бегал, позволь узнать, по каким-таким закоулкам тайным, что я тебя разыскать не смог, как ни старался? – попробовал было пошутить Сашка, но Вадик даже и по телефону почувствовал холод и раздражение в нём, что гневом и бранью нешуточной готовы были вот-вот обернуться.

– Сначала в парке побегал; потом вокруг пруда пару раз обежал; потом домой вернулся.

Вадик сознательно упомянул про пруд: чтобы враньё его не было уж столь откровенным. Парк-то у них был небольшой, и потеряться в нём, особенно утром, было проблема-

тично.

—...А чего же меня не дождался? — помолчав, спросил ещё Сашка.

— Спишь долго! — натужно засмеялся в трубку Стеблов. — А я сегодня встал рано: часов в шесть, кажется. Чего, думаю, целый час тебя сидеть, дожидаться буду — лучше побегаю пока один.

Между приятелями установилось молчание, тягостное для обоих. Нужно было заканчивать разговор.

—...Ну а завтра-то будем бегать?... или как? — наконец-таки услышал Вадик приглушённый голос в трубке, совсем ему незнакомый.

— Конечно, будем, — уверенно пообещал он, уже заранее зная, что не выйдет на встречу, что будет всё утро спать.

—...Во сколько?

— В семь, как всегда.

—...Ну ладно, да завтра тогда. Завтра я забегу за тобой.

И Сашка быстро простился...

Но назавтра картина у них повторилась: Збруеву опять дверь открыла Антонина Николаевна и опять, краснея и запинаясь, сказала ему, что Вадик один убежал и просил передать, что будет ждать его в парке. Побелевший от обиды Сашка в другой раз пустился в парк — дружка своего разыскивать, — но друга там опять не увидел, нигде. И, кажется, понял всё: что его водят за нос, хотят от него избавиться. И рассвирепел от этого своего прозрения, очень сильно рас-

свиристел – до глубины души, что называется...

А у Стеблова в этот момент был серьёзный разговор с матушкой.

– Знаешь что, Вадик, – строго выговаривала она ему, обиженная своей незавидной ролью и не желавшая более мириться с ней, участвовать в придуманном сыном спектакле. – Ты волен, конечно же, сам выбирать: дружить тебе с ним или не дружить, встречаться или не встречаться, – но вопрос этот ты должен уладить сам, не втягивая меня в это дело. Я не хочу более обманывать этого мальчика: у меня это плохо получается, и я начинаю саму себя призирать.

–... Хорошо, ладно, – ответил матери нахмурившийся сын, и сам всё уже понявший: что для разрыва отношений со Збруевым выбрал не самый правильный путь, не самый честный, что главное. – Сегодня я ему по телефону скажу – если он позвонит, конечно же, – что бегать с ним по утрам не хочу, что беготня эта дурацкая пользы мне не приносит... Пусть, если хочет, бегаёт теперь один – если у него ноги чешутся... И вообще, надо пореже видеться с ним, пореже общаться, – закончил он с грустной улыбкой. – Надоел он мне, мам, хуже редьки горькой...

Всё утро и целый день потом пристыжённый матушкой Вадик ждал от Сашки звонка – волновался, трусил чуть-чуть, настраиваясь на разговор неприятный.

Но Сашка, как чувствовал, не позвонил – избавил его от

объяснений ненужных, а себя самого – от лишних обид. Он вообще с того дня перестал звонить Стеблову, перестал приходить и встречаться с ним. И в течение двух последующих месяцев – июля и августа понимай – друзья ни разу не встретились в городе, не пересеклись, о чём отдохавший и отсыпавшийся дома Вадик, окружённый заботой родительской, не очень-то и сожалел, что было ему только на руку. Пустой и язвительный Збруев стал здорово его тяготить, как тяготит, к примеру, заведшего молодую любовницу мужа больная и опостылевшая жена, от которой пользы нет уже ни на грош: одни обиды лишь слышатся и упрёки...

Увиделись они опять аж первого сентября только, на последней перемене в коридоре третьего этажа родной школы. Улыбнулись натужно, холодно поздоровались при встрече, перекинулись парой фраз, как мало знакомые люди, и тут же быстренько и разошлись, унося в детских душах неприязненное друг к дружке чувство. Сашка пошёл развлекаться к своим одноклассникам и друзьям, Вадик – к своим, с которыми каждому было теперь куда спокойнее и интересней. От прежней дружбы их и согласия не осталось уже и следа. На место этого уверенно взгромоздилась холодная вражда, пока ещё обоими от посторонних глаз скрываемая.

Тамара Самсоновна, Сашкина мать, была здесь куда более откровеннее и прямее, сразу же отбросившая в сторону лишнюю дипломатию и политес, и рамки приличия, ей совсем

не свойственные. Она всегда, когда близко сталкивалась со Стебловым в школе, уже как бы демонстративно не замечала его и не отвечала на его приветствия. Она всем видом показывала, особенно гневным и грозным в минуты встреч и устрашающим, что он-де, Вадик Стеблов, для неё теперь – самый главный и самый заклятый враг, с которым она обязательно рассчитается, обязательно!!!

По её напряжённо-сжатым губам, глазам беспощадным и злым, точь-в-точь как оскал у бойцовой собаки, можно было прочесть без труда (что наш чувствительный и прозорливый герой, к слову сказать, регулярно и делал): «не думай, дружок, что тебе твоя неблагодарность и поведение хамова-то-дерзкое даром сойдут: ты ещё попрыгаешь у меня, гадёныш! поплачешь! Ты у меня кровавыми соплями умоешься! Поверь!...»



Самым большим в плане проблем предметом – как это ни покажется странным! – стала для Стеблова в его прежней школе физика, которая проблемной бы ну никак не должна была быть по логике вещей, которой Вадик всё лето без усталости занимался...

Вообще-то он физику не очень любил – если уж на чистоту начать рассказывать и объясняться, – он был идеалистом-романтиком похлеще самого Платона. И *мир, сидящий внутри него*, в его фантазиях и придумках юношеских, в голове через чур горячей и мыслях, что вихрем роились и кружились в ней, – этот мир становился для некогда шустрого Вадика, как всё больше и всё отчётливее выяснялось с годами, куда интересней и значимей в плане исследований *мира внешнего, материального, или физического, жёстко ограниченного формой, массой, весом и качествами своими – как физическими (внутриатомными и внутриядерными), так и химическими (внутримолекулярными), – законами взаимодействия*. В этом, физическом, мире особенно-то не пофантазируешь и не разбежишься, не расправишь крылья души. В нём всё определяют опыт и эксперимент, и материал исходный, вполне конкретный и осязаемый, со своими же конкретными формами и объёмами, и свойствами незыблемы-

ми и фундаментальными, которые бесцельно “полетать в облаках” исследователю не дадут: нечего даже и пытаться! В нём, наконец, есть разумному и дозволенному *границы, границы* нужного и полезного. Есть любому исследованию, одним словом, некий естественный и вполне объяснимый *предел, связанный с формой и качеством исследуемого предмета, из которого невозможно до бесконечности что-то новое, непознанное и полезное выжимать*, как из того же яблока соки. Когда-то же они закончатся.

В математике же – и этим она принципиально и кардинально отличается от физики – нет *границ* и научно-исследовательских *пределов*, нет никакой “меркантильности” и “условности”, тем более, – потому что там и самих *предметов-то* как таковых нет: есть одни только символы и понятия, абстрактные объекты и правила работы с ними! Всё! Куда хочешь поэтому, туда и направляй свою мысль, что нравится, что ближе тебе, то и исследуй – кто против?! Ты, как ветер вольный, степной, на крыльях фантазии и гения собственного во все стороны можешь “лететь” – пожалуйста! Главное, чтобы это не противоречило здравому смыслу и правилам логики, только-то и всего. Ограничение, согласись, пустяшное! И тогда все научно-исследовательские дороги будут открыты перед тобой и все направления деятельности – без каких-либо внешних преград и не-дозволений.

Может, поэтому-то наш Стеблов, свободолюбивый и ветреный от природы, по гороскопу ветреный, не по жизни, и

увлѣкся так жарко алгеброй с геометрией в седьмом классе, что те работали именно с идеальными объектами, ни массы не имевшими и ни веса, ни цвета, ни запаха и ни вкуса — ничего. Объектами, из которых можно было выстраивать без труда, посредством *дедуктивного метода и правил логики*, такие же идеально-обворожительные миры, невероятные по красоте и сложности, изяществу умственному и интеллекту, в которых всё было на загляденье мудро и правильно заведено, по нерушимо-незыблемому закону устроено; где царствовали безукоризненная гармония, научная правда и сила мысли, сила логики и прозрения. А не его величество *случай* и *эксперимент*, который сначала возводит *контуры* чего-то “великого” и “значимого”, а потом, самосовершенствуясь и усложняясь со временем, их же беспощадно и рушит, объявляет ересью. Уж сколько в физике подобных “гениальных теорий” было за всю её многовековую историю, которые мыльными пузырями оказывались на поверку, и испытания временем не прошли.

Да и потом, начав изучать *механику* в восьмом классе, первый большой раздел школьной физики, Стеблов быстро понял, что она от математики сильно зависит и её языка, которым беззастенчиво и обильно пользуется. И зависимость эта унижала предмет, автоматически его опускала по значимости.

В интернате он в этом ещё более убедился: как много значит для всей современной физики универсальный матема-

тический язык – анализ и алгебра, в первую очередь, теория вероятности и дифференциальные уравнения. Современная физика, по сути, только тогда началась (в трудах Галилея, Кеплера, Ньютона), только тогда от *натурфилософии* отличаться стала, когда заговорила языком аналитических формул и цифр, что обобщил и унифицировал бессистемные старые опыты, придал им законный порядок и строгий вид.

Осознание зависимой роли физики чуть-чуть опустило, повторимся, этот достойный предмет в глазах и мыслях старшеклассника Стеблова, что не помешало ему, тем не менее, физику уважать и изучать, внимание ей уделять повышенное. Язык – языком, идеализм – идеализмом, – но кроме теоретической физики, которую и вправду от математики нельзя отличить, есть и другая – экспериментально-практическая. Есть радиоэлектроника, лазер, компьютеры, космос, ракеты, энергия атома, наконец, без чего современную жизнь представить уже нельзя, без чего она добрую половину прелести своей потеряет.

Была и другая причина для изучения. По физике Стеблова ожидал вступительный экзамен на мехмат – экзамен довольно сложный, как ему в Москве студенты-мехматовцы рассказывали, и всеобъемлющий. И если он его завалит, не дай Бог, он автоматически и с самой математикой распрощается, которую больше жизни любил, которую мечтал сделать профессией. Так что хочешь, не хочешь, а физику ему учить приходилось; приходилось выделять на неё львиную

долю времени, что он охотно и делал; в отличие от русского или немецкого языка, от той же литературы, истории и обществоведения.

Поэтому-то физику на уровне школьной программы он прилично знал. После математики – лучше всех остальных предметов. И в десятом классе, памятуя о грядущих конкурсных испытаниях, поставил себе целью её ещё лучше узнать, отточить до блеска её вступительную вузовскую программу: чтобы в июле-месяце предстать перед дотошными университетскими экзаменаторами во всей красе и математику физикой не заслонить, не перечеркнуть, тем более. Что было бы ему очень и очень обидно...

Далее непременно надо сказать, для полноты картины, что интернат и с физикой Стеблову на родине большую “свинью” подложил, ибо программа преподавания физики там, в колмогоровской спецшколе, на двухгодичный поток рассчитанная, никак не связывалась с трёхгодовой физической программой средних общеобразовательных школ, была ускоренно-автономной. Она предполагала, в частности, что поступившие в девятый класс интернатовцы физики как бы не проходили совсем. И обучать их поэтому нужно начинать с нуля, с использованием *исчисления бесконечно малых*.

С нуля и начинали: с динамики, статики, гидростатики, с теории упругости и теплоты – с того, одним словом, что уже изучали девятиклассники год назад, что, пусть и на прими-

тивном уровне, все они уже худо-бедно знали. Положенные же на этот год по средне-школьной программе электричество и магнетизм переносились в спецшколе на десятый класс. И изучались теории эти на языке уравнений Максвелла...

Покинувший на половине дороги Москву и возвратившийся домой Вадик, осознавая сложившуюся ситуацию, всё лето добросовестно просидел за учебником физики за девятый класс, самостоятельно постигая пропущенные из-за нестыковки программ разделы, решая задачи по ним, упорно навёрстывая упущенное. Это ему удалось – наверстать. И в десятый класс в сентябре он пришёл всесторонне-подкованным человеком, не имея хвостов за собой и тем запретных, непознанных. И с полным правом мог бы заявить поэтому, что физику школьную знает твёрдо и хорошо ориентируется в ней.

Если говорить о разделах, – то более всего, конечно же, Стеблов и знал и любил классическую механику, ценил её куда выше всех иных дисциплин, считал самой важной, самой глубокомысленной и лучше всех разработанной в теоретическом плане, самой для себя интересной, а для остальных – полезной. Законы Кеплера и Ньютона, озвученные преподавательницей в восьмом классе, оказались удивительным инструментом, или же настоящим волшебным ключом-отмычкой, позволявшим распутывать и понимать многие неразрешимые долгое время задачи, которые ставила

перед человечеством жизнь, которые издревле, с античных времён почитай, не давали умным людям покоя. На знании этих законов советский и мировой космос вырос с его баллистическими ракетами и межпланетными перелётами, всё современное самолёто- и вертолётостроение, что уже говорило о многом, заставляло Вадика трепетать... К тому же, механика, выросшая из астрономии, Вселенную, Космос и макромир исследовавшая по преимуществу, стояла ближе всех к математике по духу и полёту мыслительному, запредельному, более всех обогатила её. Там более, чем где бы то ни было, использовался математический высокопарный язык, логика и дедукция – и мало использовались опыты, человеческие руки то есть, сильно помогающие голове. Оттого-то, быть может, факультет, куда Стеблов поступать собирался, и назывался механико-математическим. Именно из-за родства, взаимообогащения и взаимного дополнения двух этих древних и божественно-прекрасных дисциплин.

А самым нелюбимым разделом было у него электричество, которое не шло в средней школе далее закона Ома, сопротивлений, транзисторов, конденсаторов – вещей, которые знал на довольно приличном уровне даже и его полуграмотный электрик-отец, знали и механики-алкаши, приходившие к ним чинить телевизор. Чем-то презренным и низменным, подчёркнуто-утилитарным веяло в школе от электричества: холодильниками, утюгами, электроплитами, выключателями и лампочками накаливания, – и люди, что за-

нимались всем этим, на учёных в его понимании не походили никак, уважения к себе, соответственно, не вызывали. Взирая на них свысока, Вадик и к электричеству с высокомерием относился. И много прикладывал воли, старания и терпения, чтобы его учить...



Итак, всё лето Вадик добровольно и истово прокорпел над физикой, навёрстывая, что пропустил, – электричество и магнетизм, главным образом. И должен был вызвать бы этим восторг и одобрение учительницы, которая просто обязана была, по всем правилам, его на руках носить и в пример одноклассникам ставить за самостоятельность и за труд, и похвальное для его лет упорство. Но вышло всё наоборот, однако ж: не слышал Вадик ни разу от учительницы своей похвалы, а одни лишь насмешки слышал да реплики ядовитые, уничижительные; да ещё непременно желание чувствовал, можно сказать *хроническое*, побольнее его при всех зацепить, унизить, ущемить достоинство.

«В Москве, говоришь, учился? Ну-ну! – неизменно было написано на её сытом, холёном, круглом лице, когда она Стеблова видела, глазами когда встречалась с ним в классе или на перемене и хитро так посмеивалась при этом, губки тоненькие покусывала. – Ладно, посмотрим, какой ты москвич, какой есть знахарь и молодец, и чему тебя там научили. Не пришлось бы мне тебя переучивать – вот в чём вопрос! – тебе прописные истины вдалбливать!»

Она и “вдалбливала” целый год, дурочка пустоголовая, норовистая, безуспешно, нагло и тупо пытаясь Стеблова под себя подстроить-нагнуть. Ну и попутно ему и всем осталь-

ным доказать, что без неё бы он пропал совершенно, без её знаний, ума и уроков. И физики, что существенно, не узнал бы и как следует не понял, оказывается, именно так. А она, “обалденно-выдающаяся” учительница и “заслуженный сто крат педагог”, его весь десятый класс собою прямо-таки благодетельствовала и счастливела – вот ведь до какого маразма и дикости дело у них доходило!...

Преподавательницу эту звали Изольда Васильевна Дубовицкая, “Изольда” – на жаргоне школьников. Была она полной, бесформенной, среднего роста дамой около-бальзаковского возраста, очень похожей по виду на пивной бочонок с приделанной головой на крышке, – была пучеглазая, обормотенная и наглая, любившая властвовать и волю свою диктовать, стравливать, подличать, плести интриги.

Она не нравилась Вадику никогда. Он был счастлив и горд до десятого класса, что у неё не учился. Встречаясь с ней в коридоре на переменах, до отъезда в Москву ещё, он всегда инстинктивно старался от неё улизнуть. Или же сделать вид и прикинуться, что не видит, не замечает её – и не поздороваться. Дубовицкая олицетворяла стихию, что была глубоко чужда и враждебна ему: так о каком тут можно было говорить здоровье?! Тут впору было обратное ей при встречах желать, чего Стеблов, конечно же, никогда не делал...

И вот, вернувшись домой, он всё-таки попал под её нача-

ло, с неудовольствием для себя узнав, что она уже второй год как преподаёт их классу физику; что на смену их прежней хохотушке-учительнице пришла, милой, приятной, достаточно молодой ещё женщине, находившейся теперь в декрете.

Тут-то уж Вадик столкнулся с Изольдой лоб в лоб на узкой школьной дорожке, и убегать, и прятаться ему от неё было уже некуда. «Ну, паря, крепче держись, – мысленно сказал он себе на первом же её уроке, представляясь как новичок и ловя глазами её взгляд злорадный, как кактус колючий. – Теперь она покажет Кузькину мать, отыграется на тебе по полной». Что впоследствии и произошло, и Изольда над ним от души покуражилась-поиздевалась за десятый класс, пока он под ней находился.

Она, зараза этакая, припомнила Вадiku всё: и невниманье прежнее, нелюбовь, и периодические убегания на переменах, которые она, оказывается, зорко все подмечала и запоминала, старательно где-то там у себя внутри записывала и накапливала до лучших времён – прямо-таки как кладовщик заправский или тот же компьютерный диск. Чтобы потом, по-змеиному переварив и превратив накопленные обиды в яд, отыгаться при случае, “должок” неучтивцу вернуть... Вот в десятом классе обильно-накопленным ядом она с ним сполна на уроках и расплатилась, более чем сполна: сверх всякой меры что называется. Она оказалась страшно памятливой на учеников и очень и очень мстительной...

И получилось, что уроки физики стали для выпускника-десятиклассника Стеблова мукою с первого дня – и всё из-за нелюбимой преподавательницы, которая Вадику в классе даже больше не нравилась, чем некогда в коридорах, на переменах школьных, на улице, в которой его раздражало и бесило буквально всё, вызывало немую агрессию, из себя выводило! И в первую очередь, безусловно, – бесил её *троцкизм* прирождённый, глубинный, что ручейком горячим, дымящимся вытекал из недр её кроваво-красной души и определял образ мыслей и жизни этой воистину-непрошибаемой женщины, женщины-бультерьера, манеру её общения и поведения.

Ярая *троцкистка* и оголтелая *революционерка* по духу, натуре и убеждениям, Изольда, как кажется, готова была разорвать и раздавить любого, в пепел Истории превратить, в пыль лагерную, кто становился у неё на пути, или же кто осмеливался в её присутствии высказывать и пропагандировать взгляды и настроения, противоречащие её собственным. Инакомыслие и инаковерие, таким образом, были самыми страшными, воистину смертными грехами в системе её нравственных и духовных ценностей, ибо она на полном серьёзе считала себя, кулёма, эталоном и центром мироздания (точь-в-точь как и её соплеменник Гринберг из интерната), понимай – самой умной и самой грамотной из всех, самой культурной, мудрой и высоконравственной. Искрен-

не верила, каракатица, что всё то, что смогло уместиться в её тупой голове, в её мозгах куриных за годы жизни – это и есть самая главная и самая важная истина на земле. А другой просто нет, не существует в природе! Всё остальное, по её глубокому убеждению, – ересь, крамола и чепуха. И носители оного – тупицы презренные и никчёмные, рабы-недочеловеки.

Люди с такими дикими взглядами и настроением, как у Изольды Васильевны, такой психологией ломовой и сомнением боевым, петушиным, всё и жгли и рушили с древних времён, давили, убивали, уничтожали, совершали все революции до одной, кровушкой до одури упивались. В Революцию они все в ЧК поголовно шли или другой какой схожий орган, от души там зверствовали и куражились, "правду жизни" утверждали огнём и мечом, молотом и наковальней. А если революций не было, – они, "благодетели-филантропы", так же не сидели без дела: гадили людям скрытно, карьеры им по возможности портили, а то и рушили совсем, спокойно жить и работать инакомыслящим не давали. В мирной жизни из них, всех этих пламенных революционеров-троцкистов и упырей-ортодоксов, стукачи хорошие получались, как правило, что наушничать, сигнализировать и "стучать" куда следует регулярно могли просто так: ради собственного удовольствия что называется.

Изольда и в физике, в преподавательском ремесле своём, точно такой же *троцкисткой* была, только без кожанки и без

маузера; и здесь её оголтелый тупой догматизм вовсю проявлялся. Что она, будущий педагог-просветитель, когда-то поняла, запомнила и зазубрила в пединституте, чему её научили там местные преподаватели, доценты и профессора, – то и хорошо, и правильно было: светом Божией истины, так сказать, правдой жизни нетленной. А всё остальное – чушь собачья и ерунда, пустословие и бред сивой кобылы, за который ученикам она сразу же двойки в журнал и дневник лепила, а то и колы...

Сугубому демократу-Стеблову были противны, чужды и омерзительны до глубины души все эти самонадеянные революционеры с кругозором и мозгами курицы и психологией бэтээров и танков. Сам-то он был из другой совершенно породы – породы людей, вечно во всём сомневающихся, неудовлетворённых и недовольных собой, своими хиленькими возможностями и способностями, вечной нехваткой времени, сил, скудными познаниями, наконец, почти нулевыми в сравнение со знаниями гениев; людей, абсолютно уверенных, что Истину-Правду Божью постичь нельзя: никому не дано такое. К Истине-Правде Творца можно только приблизиться на почтительное расстояние и, очарованному, замереть – издали молча Ей любоваться.

Эта его уверенность – в принципиальной невозможности постижения планов и замыслов Отца-Вседержителя, Устроителя и Промыслителя Вселенной, и, соответственно, Его земных и небесных творений, – в нём жила с давних пор: вероятно, он с этим родился. Поэтому-то, он рано стал понимать, и с годами это его понимание только усиливалось и укреплялась на подсознательном уровне, что любая рациональная система, вышедшая из человеческой головы, любая догма, схема или теория – это всего лишь ЧАСТЬ (причём, очень и очень мизерная, почти-что микроскопическая) че-

го-то огромного, необъятного и необъяснимого, что принято называть коротким и простеньким словом – МИР. И чем, соответственно, больше таких вот "частей" он изучит, пропустит через себя – тем лучше этот самый МИР и поймёт... Поэтому-то его абсолютно ВСЕ системы интересовали и ВСЕ теории – и религиозные, и философские, и естество-научные – ВСЕ! Ибо в каждой из них, как в спектре, содержалась малюсенькая часть Великой Божественной Правды и Истины.

По этой же самой причине он никогда не любил и не терпел ДОГМАТОВ – людей, что остервенелю штудируют и потом также остервенелю внедряют чьи-то модные суждения в жизнь, за них как за ширму цветастую, очень красивую, прячутся, бездарность, бесплодность и собственное убожество этим умело скрывая.

*«Суждение, догма, закон, система, та же мораль, – мог бы с вызовом бросить таким вот оголтелым горе-пропагандистам Вадик, – это отражённое и оформленное мировоззрение одного человека или группы лиц – не более того. И безоговорочно следовать за кем бы то ни было, пусть даже и очень и очень мудрым, высокопарным и разрекламированным, отвергнув при этом других, – значит добровольно самого себя обкрадывать-обеднять, делаться, элементарно, малограмотнее и глупее... Это всё равно что на небе полупночном выбрать одну-единственную звезду, пусть даже и самую яркую, – и молиться потом на неё всю жизнь, закрывая глаза на другие, не менее этой лучезарные и прекрасные.*



*Есть что-то ненормальное и ущербное, и по-детски слабое в таком упорном самоограничении и само-обеднении, такой интеллектуальной слепоте, такой однобокости и узколобо-сти, наконец, – болезненно-ненормальное...»*

Так если и не думал, то чувствовал Вадик на уровне интуиции, когда ещё дома учился и книжки разные по вечерам запоем читал, оставив любимые лыжи. Потом, в интернате уже, его в этом суждении-взгляде сильно гениальный француз Б.Паскаль поддержал, утверждавший в «Мыслях» своих, что *«есть люди, заблуждение которых тем опаснее, что принцип своего заблуждения они выводят из какой-либо истины. Ошибка их не в следовании ложному взгляду, а в следовании одной истине при исключении другой»*; а ещё утверждавший там же, что *«...итогом всякой истины служит памятование об истинности противоположного»*, что *«любое исходное положение правильно – и у пиррони-стов, и у стоиков, и у атеистов и т. д. Но выводы у всех ошибочны, потому что противоположное исходное положение тоже правильно»*...

Прочитав однажды такое, Вадик сильно, помнится, возгордился и вспылал душой; всем сердцем, всем естеством своим поблагодарил мудреца Паскаля за поддержку дружескую и руку помощи, поданную в нужный момент: когда его первые философские взгляды ещё только-только формировались и сильно нуждались в опеке, во властной защите чьей-нибудь – как появившийся из-под земли стебелёк.

А уж когда он с Ницше в 25-ть лет познакомился, и его «Заратустру» несколько раз прочитал от корки до корки, – то всех догматов тупоголовых, бездарных и пошлых, что по жизни потом в избытке встречал, и вовсе люто возненавидел! Как трусов последних и как ничтожеств, только и умеющих, что пухлые щёки свои без конца раздувать да за заученные цитаты прятаться – кичиться чужими знаниями и умом. **«Сколько ИСТИНЫ может вынести дух? на какую степень ИСТИНЫ он отважится?»** – ходил и бубнил он себе под нос в течение нескольких дней так поразившее его откровение великого немца. – **«Это становилось для меня всё больше и больше мерилом ценности. Заблуждение (вера и идеал) не слепота, заблуждение – ТРУСОСТЬ!!!... Всякое движение, всякий шаг вперёд в познании вытекают из мужества, из жестокости по отношению к себе, из чистоплотности по отношению к себе»...**

Хорошо написано – не правда ли?! – духоподъёмно, мужественно и честно; да ещё и безжалостно к самому себе и другим, – что особенно ценно и важно, и более всего подкупает. Мужественность и мудрость автора поражали Вадика, в шок повергали, в трепет, в тихий душевный восторг. Равно как и книги его замечательные, что были сродни откровению или вспышке молнии над головой, и становились духовным нашатырём для Стеблова, таким скипидаром для разума и для воли, что потом от спячки и лени его на протяжении долгих лет исцелял, от интеллектуальной зашорен-

ности и дебилизма. *Количество ИСТИНЫ*, что позволял себе человек, входивший в его орбиту, становилось мерилom и для него самого: он всех людей с той поры на безусловное "качество" их только по такому критерию и оценивал...

Так вот, Дубовицкая по этой "качественной шкале" была у него на самом низу, возле *нуля абсолютного*, пусть даже про Ницше десятиклассник Стеблов ещё и слыхом не слыхивал, не знал, что подобного масштаба люди вообще существуют в природе. Поэтому он сразу же и невзлюбил Дубовицкую, стал в оппозицию к ней – со всеми издержками для себя и последствиями.

Ведь для Стеблова уже и тогда любая догма или, что хуже, сентенция какая-нибудь "глубокомысленная", правило, схема, шаблон были почти что смерти подобны, а для Изольды Васильевны – жизни. Вадик рушил догмы с сентенциями и шаблонами по мере сил, пытаясь их вечно оспорить, усомниться в их безусловной ценности и адекватности в отображении мира, обвинить их авторов в пошлости и примитивизме. А она создавала их с упорством маньяка в своей тупой голове и потом зорко стояла на страже, как дозорный солдат, готова была в драку за них полезть, глаза осквернителю выцарапать... Вадик не терпел и презирал фанатов и ортодоксов, то есть одной дешёвой идейки рабов, одной фразы даже; она – таких беспринципных и безыдейных людей как он, "нигилистов отъявленных и законченных, – по её глубоко-

му убеждению, – Базаровых новых, советских, разрушителей школьных устоев, порядка с традициями и дисциплины”.

Вадик был демократом со всеми, старался “не лезть со своим уставом в чужой монастырь”, никого и ничему не учить насильно, не обращать в свою веру назойливо, не менять течения чужой жизни палкой. Потому что волю очень любил и ценил, и свою и чужую, стремился всю жизнь к абсолютной свободе духа, к саморазвитию постоянному и самоутверждению, выяснению собственного предназначения, – что было для него важнее всего, было смыслом земного существования. Он был неизменно замкнут на себе самом, если коротко: как тот же Афоня Борщёв из фильма. До других ему дела не было.

Дубовицкая же, наоборот, была вся вовне и, воспринимая себя любимую как идеал и образец человека, как само совершенство и красоту, само обаяние, она была рождена всё инакомыслящее и инако-живущее крушить и ломать, “причёсывать” под одну гребёнку – чтобы сделать мир и людей вокруг себя послушными винтиками, рабами. В идеале она мечтала переделать всех по своему образцу – чтобы было удобно и спокойно жить, и с другими комфортно и легко общаться.

Идеальным учеником для неё был поэтому Вовка Лапин – парень красивый, добрый, воспитанный, ласковый с учителями, как и Стеблов демократ и большой трудяга; но бездарный и бесплодный с рождения, не имевший ни стержня, ни огонька внутри, ни минимальной к чему-то привязанно-

сти... Поэтому-то и был он податливый как воск, из которого при желании что угодно можно было слепить – хоть чёртика с рожками, хоть арлекина, – он стерпел бы, наверное, всё, не воспротивился бы.

Дубовицкая и лепила без устали послушного себе раба, и очень любила за эту послушность и податливость Лапина, наглядеться-нарадоваться на него не могла, оценки ему сплошь отличные ставила. Всё, что ни скажет ему на уроке, бывало, – то и хорошо, то и правильно, то и славненько; какую чушь ни сморозит, – и ту проглатывал Вовка как бегемот, не думая и не критикуя наставницу, не поднимая шум. Какой там! Он только подобострастно на Изольду поглядывал последние два школьных года, да глазками бестолково хлопал как попугай, в которых покорность просматривалась одна, помноженная на чувства нежные и добрые, на немой восторг. Слова и мысли учительские для него моментально становились законом, догмой непререкаемой и абсолютной, отблеском Истины, и сомнению не подвергались – избави Бог! Он даже ошибки её методические у доски старательно в тетрадке копировал – и за это получал пятёрки в дневник и беззаботно жил, катался как сыр в масле...

А с Вадиком было не так: Вадик весь год выпускной как бычок молодой бодался и сопротивлялся, пытаясь во всём разобраться сам, подвергнуть сомнению и анализу, всё через призму критики пропустить, как Кант пропускал в своё вре-

мя философское наследие прошлого. Интернат Колмогорова к этому его приучил – к самостоятельному творческому подходу. И избавляться от этой, не самой скверной, привычки по чьей-то там прихоти и капризу Стеблов желания уже не испытывал. Зачем?...

Первый серьёзный конфликт возник у них уже на третьем занятии, когда Изольда Васильевна вызвала Стеблова к доске: решать задачу по оптике. Вадик, взяв тогда в руки мел, стал уверенно рассказывать классу первое, пришедшее ему на ум, решение. Но Дубовицкая, не дослушав ответа, остановила его, заявив, что она им на прошлом уроке не так объясняла, и решает Стеблов не правильно ввиду этого. После чего попросила строго и с вызовом, чтобы он вспомнил предыдущий урок.

Удивлённый Вадик скривился на это, сказав, что учительница не дослушала его до конца, перебила на полуслове, что задачу он решает правильно – это все по ответу скоро увидят. А то, как она объясняла им, он уже и не помнит, по честности, что, собственно, и не важно. Ибо путей достижения цели существует множество, – и каждый для себя выбирает тот, который и удобнее ему, и проще.

Про простоту и удобство он зря сказал: он и сам потом пожалел об этом, – ибо Изольда аж даже подпрыгнула на месте, вся позеленев.

– Ты хочешь сказать, Стеблов, что я свой урок не правильно вам объясняю? – и неудобно, и сложно? Да? – свирепея, тихо спросила она... и потом добавила, ухмыльнувшись недобро и глаза максимально сощуриив. – Надо же, какой у

нас в школе ученик диковинный объявился: своему учителю с 23-летним педагогическим стажем нотации при всех стоит и читает, учит преподавательскому ремеслу!

– Да я не учу Вас, Изольда Васильевна, и не читаю нотаций. Зачем Вы так говори-те, напраслину возводите на меня? – попробовал было оправдаться Вадик, которого Изольда не так поняла. – Я просто решаю задачу по-своему, как легче мне, а не так как объясняли Вы и как, соответственно, Вам легче.

– По-своему ты будешь жить и решать, когда институт закончишь и когда на моё место встанешь, если встанешь вообще, – грубо оборвала его опять Дубовицкая, глазищами горящими готовая его разорвать. – Вот тогда и будешь всех наставлять, про способы разные стоять у доски и рассказывать, образованностью своей щеголять. А пока ты мой ученик и пока ничего из себя не значишь, а только делаешь вид, – ты должен слушать меня и молчать, и беспрекословно выполнять все мои указания – если не хочешь себе проблем по моей части!... По-своему он, видите ли, хочет решать – гений доморощенный, сиволапый! – переведя дух, зло затараторила она далее, густо брызжа слюной. – Ты думаешь, если год в Москве проучился, так перед тобой тут на цырлах все будут ходить, позволять тебе вольничать и красоваться, и учителям дерзить?! Вспоминай давай побыстрее, как я вас позавчера учила, – закончила она возбуждённо, даже и побагровев под конец, что с ней, неторопливой вальяжной дамой с



обострённым чувством собственного достоинства, редко когда случалось, – или получишь двойку за своё решение. Это я тебе гарантирую!

Делать было нечего: пришлось пристыжённому Вадику вспоминать весь прошлый урок и всё, что рассказывала на нём учительница. Он это и сделал, в итоге, и задачу решил у доски, – но Дубовицкая поставила ему в журнал успеваемости четвёрку, которая была для Стеблова твёрдой двойке сродни – унижением, оскорблением, издевательством! Как хотите! Была первой "пощёчиной" звонкой, "оплеухой" даже, если совсем уж точно сказать, что прилюдно вlepила ему непробиваемая Изольда. И таких "оплеух-пощёчин" ждало его впереди великое-превеликое множество...

Вторым большим унижением, большой обидой стала для десятиклассника Стеблова контрольная работа всё по той же оптике, которую Изольда Васильевна провела двадцатого сентября, на исходе третьей учебной недели.

Вадик старался как никогда, как никогда следил за собой – всё угодить пытался капризной своей физичке... Но старания его – увы! – оказались напрасными, потому что, открыв на следующем уроке тетрадку, он увидел свою контрольную наполовину исчеркнутой преподавательским красным карандашом, которым Дубовицкая его записи дотошно правила, а в конце контрольной стояла жирная "4-ка"! Отметка, от которой Вадику дурно сделалось, именно так! от

которой впервые за долгую школьную жизнь ему прямо за партой захотелось расплакаться.

Он машинально взглянул тогда на ответы помутневшими от обиды глазами: они исправлены не были, то есть верными были по сути своей, он предложенные задачи решил верно. Но сами решения в плане формы были подвергнуты жесткой цензуре: цензору они не понравились категорически.

Настроение у него упало сразу же, хандра навалилась со слабостью, на лбу, на щеках, под глазами выступил мелким бисером пот. Ему захотелось подняться с места и покинуть класс, домой уйти побыстрее: чтобы и вправду расплакаться там от души, пожаловаться на Изольду родителям. Он ненавидел её в тот момент, по классу важно вышагивающую и традиционно собою любующуюся как павлин, и дорого бы отдал за то, чтобы её кто-нибудь наказал: опустил, оскорбил, унизил.

Домой он не ушёл, разумеется, с трудом дождался звонка и на перемене пошёл с тетрадкой к учительнице, не понимая даже – зачем. Его просто сильно обидели в очередной раз, и ему захотелось узнать – за что! по какой причине его так не любят!

– Почему Вы мне четвёрку поставили, Изольда Васильевна? – нервно спросил он недобро ухмылявшуюся Дубовицкую, которая, как кажется, ждала его и рада была разговору. – Почему исчеркали всё? всё исправили? Ответы у меня правильные, такие же как и у Лапина Вовки. Только у него

пятёрка стоит, а у меня четыре. Почему?

– Потому что Лапин, – ответила, скалясь, Изольда, высокомерно смотря на Вадика, – и решает и описывает всё в точности так, как я говорю, как на уроках вам всем изо дня в день показываю. И молодец поэтому! А ты, я заметила, с первого дня за тобой слежу, ты будто специально пытаешься меня извратить: всё свою неповторимую индивидуальность продемонстрировать хочешь, меня будто бы ей удивить. Слова простого написать не можешь, чтобы не выпендриться, не показать мне тайно и явно: смотрите, мол, Изольда Васильевна, каков я есть молодец: Вас, как учительницу, ни в грош не ставлю! Как хочу, мол, так и ворочу! так работы свои и оформляю и Вам потом отдаю – с ехидцею!... А передо мной выпендриваться и ехидничать не надо: я за свою жизнь, Стеблов, уже столько вас, гордецов, повидала, что и не счесть. И всех, в итоге, приучила к порядку: шёлковые все у меня ходили и ещё и благодарили потом, что умуразуму вас, дурачков-простачков, научила, частичку жизни своей задаром вам отдала.

– Да я ничего не хочу показать, Изольда Васильевна, и не выпендриваюсь перед Вами, как Вы говорите, не ехидничаю, честное слово! – горячо принялся возражать ученик, искренне объясниться и оправдаться пытаюсь. – Я просто как думаю, так и пишу; так и решаю и описываю потом свои решения! Я же не виноват в этом!

– Я тебе уже говорила, Стеблов, – оборвала его Дубовиц-

кая грубо, – я предупреждала, что думать будешь самостоятельно, когда школу и институт закончишь и на моё место встанешь преподавательское. А пока ты мой ученик, пока подо мною ходишь – будешь беспрекословно выполнять все мои указания и требования методологические, которые я не с потолка беру, как ты понимаешь. Меня этому в пединституте учили – целых пять лет! – я за это зарплату приличную получаю... Так что бери тетрадь и просмотри повнимательнее свою контрольную дома: получше запомни требования, что я предъявляю и о чём подробно написала тебе. И, повторяю, следи за моими объяснениями в классе, внимательнее следи – не строй из себя гения, не надо! – если не хочешь в дальнейшем неприятностей по моему предмету.

Вадик неприятностей не хотел, не думал ссориться с Дубовицкой; поэтому и старался как мог под преподавательницу подстроиться. Но старания его искренние и запредельные дивидендов не приносили – хоть тресни! – потому что неприязнь человеческую одним лишь старанием не преодолеть: неприязнь, нелюбовь, антипатия лежат совсем в иной плоскости. И как с ними бороться – Бог весть, – ибо чувства эти сугубо иррациональные...

Ну и, как итог нелюбви с неприязнью, итог хронической антипатии, Стеблов всю первую четверть получал у Изольды в дневник одни лишь хорошие отметки, четвёрки то есть, к которым привыкнуть не мог, сколько б ни уговаривал себя и ни успокаивал. Как не мог он привыкнуть ни ранее, ни потом к несправедливому по отношению к себе наказанию. Великим физиком он себя не считал: он и у Гринберга был твёрдым четвёрочником-хорошистом... Но там обиды не было никакой, там и четвёрки ставились ему авансом. Потому что интернатовские задачи были невероятно запутаны и сложны: он и условия-то их порою не сразу схватывал. И своё срединное положение в московской школе считал и законным поэтому, и вполне оправданным.

Задачи же Дубовицкой, наоборот, были до того смехотворными, "прозрачными" и тривиальными, что решения их в его голове рождались почти что сразу, и без труда – на автомате, что называется. Поэтому-то так остро и так болезненно воспринимались им Изольдинские за них четвёрки.

Они, эти злосчастные четвёрки её, были вдвойне, а то и втройне унижительными и обидными для Стеблова – ученика, который перед каждым уроком, фактически, консультировал по физике своих друзей: и Лапина того же, и Макаревича, да и других одноклассниц и одноклассников. Все

они потом выходили к доске с его алгоритмами и наработками, как попки повторяли мысли его и слова, и получали от Изольды Васильевны за такой повтор самые высокие баллы и самые хвалебные отзывы. А консультанту их бескорыстному она упорно "4" ставила из раза в раз, и не прощала ему ничего, даже и ошибок орфографических, за которые она также снижала ему баллы...

Кончилось всё это тем, такой оголтелый и нескончаемый накат на него, такая травля подлая и душещипательная, что итоговой за первую четверть оценкой по физике стала для Стеблова оценка "4", о чём обладатель её узнал от классной руководительницы своей, Лагутиной Нины Гавриловны.

– Вадик, – сказала она ему с удивлением, придя на последний урок перед недельными осенними каникулами. – А ты знаешь, что у тебя по физике четвёрка за четверть стоит? что Дубовицкая тебе "4" поставила?

– Не знаю, – побледнев, ответил Стеблов, у которого внутри всё так ёкнуло и оборвалось, испарина выступила на спине и на лбу, и запершило в горле: до того ему услышанное неприятно и тягостно было.

– Четвёрка, да, я сама видела, – уверенно подтвердила Нина Гавриловна... и потом, внимательно на него взглянув, спросила, понизив голос: – У тебя что, проблемы с ней? да?

– Да, проблемы, – тихо ученик ответил, которому опять захотелось расплакаться и убежать домой, ото всех там по-

дальше спрятаться.

—...Понятно, — понимающе покачала головой Лагутина. — Такое уже много раз случалось... Ты смотри, поаккуратней с ней, — добавила она ещё тише. — Она у нас женщина норовистая, с характером. Кого не возлюбит — плохо дело. Того уж никто не спасёт, даже и директор школы...

Легко было классной руководительнице говорить: поаккуратней. Как тому петуху из пословицы, который прокукарекал утром раненько — а там хоть не рассветай... Вот так и она точно. Сказала — и забыла тут же, галочку где-то там в голове поставив. А что было делать Вадику? как положение исправлять, которое с первого дня как погода осенняя только портилось и портилось?

Откровенно начинать задницу Изольде лизать во второй четверти, льстить, заискивать и унижаться ему не хотелось — противно было до глубины души, до тошноты утробной. Да и не помогло бы это ему, ситуацию не исправило бы. Уж больно глубокая пропасть разделила сразу же их, чтобы перескочить её так дёшево и так просто; сильны и устойчивы были претензии и антипатия.

Должно было произойти что-то такое — из ряда вон выходящее! — что помогло бы им хоть на время приглушить взаимную неприязнь, успокоиться, подобрать, сердцем и душою оттаять (в основном, это Изольды касалось), лицами повернуться друг к другу, а не задницами...

Таким из ряда вон выходящим событием стала олимпиада по физике, что проходила в четвертой школе в конце второй четверти, в десятых числах декабря. Олимпиада, которую Вадик уверенно у всех выиграл, славу первого физика школы себе стяжав и недолгую милость Изольды.

Началось же всё прозаично и буднично для него, без какого-либо намёка на торжество и триумф оглушительный, предновогодний. В начале очередной учебной недели (пятого декабря это было) Дубовицкая вошла в класс и объявила всем на уроке, что в ближайшее воскресенье она будет проводить в своём кабинете физическую олимпиаду для десятиклассников, и что, соответственно, всем, кто хочет получить по её предмету итоговую отметку "5", необходимо на этой олимпиаде присутствовать.

– Мне от вас не победа нужна, а участие, – сказала она. – Ибо я должна убедиться, что пятёрки вам в аттестат не за красивые глазки поставлю; убедиться, что вы что-то узнали, всё ж таки, за десять лет, что-то поняли и запомнили; и после школы сможете свои знания предьявить. Тем более, что многие из вас, как я понимаю, в институт поступать собираются летом. А уж там-то, поверьте, экзамены посложнее моей олимпиады будут. Вот вы и проверите себя, в своей готовности стать студентами убедитесь... Ты тоже приходи, Стеб-



лов, — сказала она под конец, бросив на Вадика колкий, с лукавым прищуром, взгляд. — Тебя-то эта олимпиада более всех касается. Мне все уши в учительской учителя прожужжали, что незаслуженно, мол, обижаю тебя, что ты способный и знающий. Вот и докажи, что всё это так, делом заработай свою пятёрку.

Вадик побледнел и напрягся, услышав такое, нахмурился, голову опустил, быстро поняв, к чему клонила учительница и что именно таким приглашением каверзным хотела ему сказать. От него-то как раз она не участия ожидала, а одной лишь победы: только победа смогла бы ей его интеллектуальную состоятельность доказать, его на итоговую отличную отметку право. А проиграй он, не приведи Господи, или совсем не прийди, — плохи будут его дела, если не сказать ужасны. Устойчивая вражда меж ним и Изольдой тогда только усилится.

Это было и обидно, и несправедливо, и дискриминационно по отношению к нему — такая крайняя постановка вопроса: или — или. Для других почему-то так остро вопрос не стоял. Лапину, например, уже имевшему пятёрку по физике, нужно было только прийти, только обозначить присутствие. И отличная в аттестат отметка ему была гарантирована. Счастливчику, ему ничего не нужно было в выпускной год ни доказывать, ни подтверждать: он всё своё уже давным-давно доказал как будто бы... И таких, как Лапин, в 10 “А” насчитывалось ровно треть — всё уже всем доказавших.

А вот четвёрочнику Стеблову непременно требовалось из кожи вон вылезти, выше собственной головы прыгнуть, чтобы с отличниками в глазах Дубовицкой сравняться – состоятельность свою такими умственными напряжениями и кульбидами подтвердить. Хорошая постановка вопроса, не правда ли?!

Безусловно, всё это было ему неприятно – такое очевидное неравноправие наблюдать. Но спорить и разбираться, выяснять отношения с Изольдой у него возможности не было.

–...Я приду, не волнуйтесь, – сказал он вслух, с вызовом посмотрев на неё, что у доски стояла и на него глядела, посмеиваясь; после чего стал думать про предстоящую олимпиаду по восемнадцать часов в сутки, исключая сон, все свои возможности и резервы при этом мобилизывая, знания и способности.

Активно решая задачи разные, повышенной сложности, в основном, из привезенных из Москвы пособий, Стеблов между делом всё пытался представить, кто может на олимпиаде поспорить с ним, реальную составить ему конкуренцию. И первым в его представлениях значился Збруев Сашка – заклятый его дружок и соперник, "гений на все времена", каким его окрестили в школе.

Вадик прекрасно знал, что Сашка не жаловал физику, был равнодушен и холоден к ней – потому и не участвовал никогда в школьных традиционных олимпиадах. Но теперь,

после возвращения Вадика и после того особенно, как он Сашку летом грубо отшил, в дружбе ему отказал откровенно, в подобострастии, тот мог и изменить своим правилам и на олимпиаду прийти. Чтобы победой своей оглушительной, если таковая будет, в лужу посадить Стеблова, и за обиды прежние ему отомстить. А главное, доказать всем вокруг, что он Вадика лучше: умнее, грамотнее, несмотря ни на что, несмотря даже на неудачные в интернат экзамены. Вадик почему-то чувствовал, что так оно всё и будет, что дружок его страшно злопамятен и станет мстить – потому-то его больше других опасался. И даже не его самого, а его грозной и все-сильной матушки, Тамары Самсоновны, которая ради сына может пойти на всё, на сговор с Изольдой той же, у которой вполне может решения всех задач разузнать, что на олимпиаде будут. Вот чего Вадик более всего боялся, когда про Збруева думал: подвоха и подлости с его стороны, вполне очевидных и вероятных.

Были и ещё два человека в школе, кого ему следовало брать в расчёт как реальных соперников: это Чаплыгина Ольга, одноклассница Вадика, и Билибин Андрей из 10 "В", класса Ларисы Чарской. Чаплыгина выиграла позапрошлую физическую олимпиаду, когда им механику преподавали, что к математике стояла ближе всего, была ей сестра родная. А поскольку математику Ольга знала прекрасно, очень любила её, – то и олимпиаду ту выиграла почти играючи, далеко обогнав по очкам Билибина, что стал в восьмом

классе второй.

Ни Збруева, ни Стеблова на той олимпиаде не было. Остальные же, кто и пришёл, те стали просто статистами, зеваками безнадёжными, праздными, – ибо вообще не набрали очков и ничего, соответственно, не решили.

В девятом же классе, когда на смену механике пришли электричество и магнетизм, Чаплыгина сдала по физике, ушла в тень. А лидером в школе Билибин сделался, кто больше-то как раз физиком-практиком был: любил лудить и паять, приёмники собирать простейшие, транзисторные, – кто в электрике хорошо разбирался, короче, в технике. Математику он слабо знал, но математика в электричестве и не требовалась – в том предмете, по крайней мере, что в девятом классе преподавался. Там нужно было хорошо понимать, как ток по цепям идёт – через диоды, сопротивления и конденсаторы, – и этого было достаточно. Билибин Андрей это всё понимал, вроде как лучше всех в школе. Потому и обогнал на олимпиаде Чаплыгину, набрал на несколько баллов больше...

На предстоящей же олимпиаде десятиклассников Изольда обещала подобрать задачи по всем главным темам за три последних года. И кто из этих двоих лучше выступит – Бог весть. Вадик исходил из того, что хорошо могут выступить оба...

В воскресенье, без пятнадцати девять, он вместе с Вовкой Лапиным вошёл в кабинет физики на третьем этаже школы, в левом её крыле, в котором стоял невообразимый шум: кабинет был уже полон. И первое, что он сделал, – стал искать глазами Збруева Сашку, кучеряво-чёрную голову его.

Но того в аудитории не оказалось: вероятно, не пришёл ещё. И это обстоятельство Вадика не сильно расстроило; как, впрочем, и не огрочило. Они с Вовкой, потоптавшись у входа, пошли садиться за первые парты перед доской, что пока ещё оставались свободными. Остальные столы уже были заняты десятиклассниками, которых в аудитории набралось приличное количество. Много было парней и девочек из 10 “А” и 10 “В” – классов, где физику как раз и преподавала Изольда. Ослушаться её из отличников никто, по-видимому, не захотел, не решился перед выпускными экзаменами гнев учительский на себя накликать. Вот и припёрлись отличники всем скопом.

Была здесь и Лариса Чарская с подругами, которую Вадик лишь мельком успел разглядеть, когда за парту сел, и на переглядки и любования с которой у него времени на этот раз не было, да и желания – тоже. Всё это сконцентрировалось на борьбу.

«Чего это корешка-то моего ещё нет? Странно! – все пят-

надцать минут до начала сидел он и думал про Збруева, испытывая лёгкую дрожь и на дверь входную раз за разом оглядываясь. — Специально, небось, опаздывает, подлец, цену себе набивает, фасонит... Никуда не денется, придёт, не упустит момента, сучонок, чтобы меня по носу щёлкнуть... Куда вот только он сядет, интересно? — мест-то свободных уже не осталось»...

Ровно в девять в кабинет вошла Дубовицкая, поздоровалась со всеми, переписала всех кто пришёл, после чего начала выписывать на доске приготовленные задачи. А Збруева всё не было и не было, так что Стеблову становилось даже чудно... и совсем-совсем не понятно.

«Неужели же он не придёт? неужели упустит такую возможность прекрасную со мной в открытую потягаться? — всё сидел и гадал изумлённый Вадик. — Ну, дела! ну и Сашка! Прямо-таки не поймёшь его, подлеца, и не просчитаешь...»

Через полчаса, когда им решена была первая конкурсная задача, он, оглянувшись назад и не обнаружив Сашку, понял, что Сашки сегодня не будет, что он ему не соперник на этот раз. И расчёты его и тревоги домашние были, как оказалось, напрасны.

У него отлегло от сердца из-за прежних мрачных предчувствий, лёгкость появилась сразу же, озорство, удальство, кураж — потому что тех козней и подлостей, которых он больше всего опасался, строить уже было некому. И всё значит

должно было пройти как надо: по-честному то есть, по справедливости, или – по Божьему. Ему, просветлённому и успокоенному, оставалось только взбодриться и сосредоточиться, волю и мысли собрать в кулак; и честно сидеть и решать задачи – и побеждать, что он с успехом и сделал...

На олимпиаде десятиклассникам было предложено четыре задачи: первая, самая трудная, была по статике и предполагала знание такого сложного физического понятия, как «*момент силы*», умение обращаться с ним; вторая, полегче, – по электричеству; третья, экспериментальная, – по магнетизму, и, наконец, последняя четвертая задача была по оптике – теме, хорошо всем присутствующим известной и близкой, и желанной поэтому, которую десятиклассники только-только кончили проходить и хорошо помнили.

Статику Вадик знал, и знал прилично: это был важнейший раздел механики как-никак, – поэтому первую задачу он решил быстро – минут за двадцать.

Во второй задаче, по электричеству, нужно было лишь догадаться, что тока по одной из двух параллельно идущих цепей, где стоял конденсатор, не будет, и цепь эта станет разомкнутой, "мёртвой" поэтому. После чего задача делалась тривиальной и решалась в два счёта. Вадик это понял – не сразу, правда, а около часа над ней попрыгав, – и задачу вторую решил с Божьей помощью.

В третьей задаче необходимо было, не разматывая трансформаторную катушку, определить количество витков в её обмотке, что сделать для Стеблова оказалось проще простого, как таблицу умножения вслух прочитать. Он сделал и это,



быстро и точно всё описал – и расправился, таким образом, к исходу второго часа и с этой задачей.

Четвёртая задача, по оптике, предполагала не столько знание законов преломления света даже – в школьной трактовке они были очень просты, – сколько хорошее знание тригонометрии, правил работы с синусами и косинусами, чего собиравшемуся поступать на мехмат Стеблову было не занимать. К исходу третьего часа он благополучно справился и с этой, последней, задачей, после чего стал тщательно проверять написанное, памятуя о равнодушном отношении к нему сидевшей напротив учительницы.

Когда прозвенел последний звонок, возвестивший, что олимпиада окончилась, он первым поднялся с места и, положив тетрадь на стол Дубовицкой, тихо пошёл в коридор – дожидаться там что-то нервно чиркавшего в своих записях Лапина.

Лапин вышел минут через десять всклокоченный и какой-то нервный, расстроенный весь; сказал, что две задачи всего решил, но решил, скорее всего, неправильно. И Вадик ему по дороге в подвал, где они в гардеробе одежду свою оставили, не спеша стал рассказывать про свои решения, чем окончательно Вовку добил, подтвердив худшие его опасения.

Потом друзья оделись и пошли домой, на ходу продолжая обсуждать задачи, что покоя не давали обоим, как ночные бабочки возле лампы в их горячих головах кружась; потом

они расстались в положенном месте, и Вадик напрямик направился в парк, куда сознательно не позвал с собой Вовку, куда всё последнее время только один ходил – как на свидания только ходят. Там он, широко плечи расправив и замедлив шаг, с удовольствием погулял в тишине около часа, воздухом подышал морозным, насмотрелся на лиственницы и липы, на бездонное небо над головой, бывшее чистым, безоблачным и очень и очень прозрачным – под стать его настроению. Он, без преувеличения, был доволен собой, как и прожитым днём: он втайне за себя всю дорогу радовался.

Возвратившись из парка к трём часам пополудни, дома он ещё раз всё тщательно перепроверил-перерешал – убедился, что сделал всё правильно, – после чего уже спокойно поел, почитал от скуки книжку какую-то, посмотрел телевизор. А в девять часов, измученный, пошёл спать – и тут же, как по команде заснул, как в яму глубокую провалился...

А уже через день, во вторник, на своём очередном уроке Дубовицкая объявила всем результаты прошедшей олимпиады, при этом впервые, наверное, дружелюбно смотря на Стеблова, без холода и неприязни всегдашней.

– Первое место, – сказала она классу, – уверенно занял ваш одноклассник, Вадик Стеблов, набравший восемнадцать баллов из двадцати, решивший безукоризненно три задачи. И только в четвёртой, по оптике, он немножко ошибся: конечную формулу правильно получил, а потом, когда

числа стал туда подставлять, неправильно их умножил. Это – мелочь, в принципе, арифметика; но я два балла всё же решила снять. Чтобы ты, Вадик, впредь был повнимательнее и пособраннее, потому что тебе после Нового года нужно будет представлять нашу школу на районной физической олимпиаде. Готовиться начинай уже теперь; какие будут вопросы – подходи без стеснения, спрашивай. Договорились? – улыбнулась она, на победителя взглянув вопросительно.

– Договорились, – ответил счастливый Стеблов, благодарно учительнице кивая.

– Призов у меня на олимпиаде нет, к сожалению, нет даже почётной грамоты, – продолжила далее Изольда Васильевна верещать. – Но тебя я всё же отмечу: поставлю тебе прямо сейчас пятёрку в журнал, и пятёрка же тебя ждёт по физике за вторую четверть. Ты доволен, надеюсь? – лукаво спросила она, демонстративно журнал перед собой раскрывая с намерением пятёрку туда занести.

– Доволен, – мотнул головой одуревший от счастья Вадик, который готов был петь и плясать уже оттого только, что налаживались его отношения с Изольдой; что, наконец, растаял меж ними враждебный лёд, целых полгода ему жизнь отравлявший...

– А остальные как выступили? – спросил кто-то из класса нагнувшуюся над столом Дубовицкую, обещанный подарок Стеблову в журнал заносившую, причём – с удовольствием, как показалось.

– Остальные выступили очень плохо, – ответила она, выпрямляясь, и по лицу её погрузневшему без труда можно было прочесть, что рассказывать про других участников было ей не очень-то и интересно. – Все четыре задачи кроме Стеблова не решил никто, даже и три никто не решил – представляете?! Занявший второе место Билибин Андрей, на которого я большую ставку делала, меня в этот раз подвёл – решил всего две задачи: по электричеству и по магнетизму, – десять баллов набрал, что для него, конечно же, очень мало... А из вашего класса лучше всех Чаплыгина Оля выступила, правильно решившая одну задачу – по оптике. Остальные же, кто на олимпиаде был, или совсем ничего не решили, или всё решили неправильно, что мне даже стыдно было их так называемые решения проверять. У меня, вон, восьмиклассники решают лучше вас всех, выпускников хвалёных...

– Я не знаю, мои дорогие, как вы с такими знаниями и способностями через полгода в институты поедете поступать, – закончила Изольда строго. – Вы там опозорите и меня и себя. Я теперь подумаю десять раз, прежде чем пятёрку кому из вас в аттестат поставить...

После этого в 10 “А” были и другие уроки физики до Нового года. На них Изольда Васильевна была неизменно добра, нежна и приветлива с Вадиком, держалась с ним если и не как с равным, то как с лучшим учеником класса – точно. Заметно было со стороны, что она старалась и внима-

ния ему уделять побольше, и его лишний разок подбодрить и похвалить, расположение своё выказать. Впереди ведь районная олимпиада была, и она справедливо рассчитывала на успех: что Вадик и там всех на обе лопатки положит. А победа Стеблова, что очевидно, и ей бы аукнулась с лихвой, и она вместе с ним прославилась бы на весь город и весь район — как воспитательница молодых дарований.

Ради этого можно б было и потерпеть. И она до Нового года Стеблова жаловала и терпела...

А уже через неделю в их школе проводилась другая важная олимпиада для выпускников-десятиклассников – по математике, – на которую Стеблов собирался так, будто победа там была у него уже в кармане. Будто туда ему нужно будет только прийти, решить всё быстренько минут за тридцать, за сорок – и потом гордо встать и уйти – героем! Как уходил он полгода уже с контрольных работ Лагутиной, к чему он и сам довольно быстро привык, и приучил свой 10“А” воспринимать его уходы досрочные, сверхскоростные, как нечто естественное и нормальное, само собой разумеющееся.

Такие победные мысли и настроения, надо заметить, необоснованными и чрезмерными не были, предельно завышенными и оптимистичными с его стороны, а для кого-то и вовсе хвастливыми и шапкозакидательскими. Они ведь не с потолка взялись и не из пальца самопроизвольно высосались, а из недавнего реального опыта. И имели полное право на жизнь, на существование.

Психологический фон для их появления был таков. Опередив всех с заметным отрывом по физике, Вадик был на седьмом небе от счастья и неподдельной гордости за себя, – и не ходил, а летал по школе, увеличившись в росте будто бы сантиметров на пять и ощущая со всех сторон подчёркнуто-уважительное к себе отношение.

Это его бодрило и заводило, бесспорно, как в том же спорте когда-то, в любимых лыжах, верой в себя накачивало каждый день, силой мысли и духа. И что особенно ценно, он в декабре впервые по-настоящему стал понимать, что напряжённейший умственный труд его последних двух лет не пропал даром – потихонечку всходы начал давать, да ещё какие всходы! Он, как с очевидностью выяснилось неделю назад, знает и может многое в сравнение с другими, хвалёными отличниками в первую очередь, потенциал у него большой. А это было очень и очень важно, поверьте, – для его психологического здоровья и настроения, прежде всего, – ибо ни в восьмом, ни в девятом классе, тем паче, у него такого настроения победного, всесокрушающего, и веры в собственный дар не было даже и близко. Там то Чаплыгина со Збруевым ему ясны очи слепили своими талантами и дарованиями, то победители и призёры Всесоюзных олимпиад, коих в интернате было великое множество.

А теперь всё это было уже позади: и интернат, и Чаплыгина, и Сашка Збруев. Интернат он забыл как полуночный страшный сон. Чаплыгина Ольга сломалась, хронически устав, вероятно, от ежедневной на протяжении нескольких последних лет за золотую медаль борьбы: ей, бедняжке, уже не до математики и не до физики было, не до громких интеллектуальных побед, с дополнительными перегрузками и перенапряжением связанных. А дружок его прежний, крикливый и "даровитый" якобы, на поверку оказался бездарем

и дерьмом, да ещё и трусом к тому же. Олимпиада по физике это показала ясно: всю его трусливую, гнилую и поганую суть.

И Вадик остался один в своей прежней школе: ему уже не на кого стало ровняться, не с кем мериться знаниями и умом, за место под солнцем бороться. Бороться он теперь должен был лишь сам с собой – с ленью собственной и усталостью, которые к Новому году стали давать о себе знать, как тараканы из нор повылазив.

Но расслабляться ему было нельзя: впереди его ожидали Москва, экзамены в Университет Московский, на которых он должен будет предстать молодцом, чтобы перед преподавателями тамошними не опозориться...

Словом, Стеблов всё правильно думал, правильно рассуждал: соперников у него действительно не осталось – по делу если судить, по факту. Одного только он не учёл тогда, главного: что остался дружок его пакостный и бездарный, ничёмный, примитивный, пустой; но зато самолюбивый и тщеславный до ужаса, страшно подлый и страшно злой, который про Вадика не забыл – помнил о нём постоянно. Резко порвавший с ним дружбу Стеблов сильно обидел Сашку, до предела унизил его, за живое задел крепко-крепко. А Сашка был не из тех, кто легко забывал и прощал подобное. Какой там! Он как хитрый зверёк, притаившись в кустах, только и ждал удобного случая, чтобы обидчику в горло вцепиться и



за всё ему отомстить, кровушки его всласть напиться.

"Зазнайка" Стеблов, которого он регулярно в школе встречал в компании Лапина с Макаревичем, буквально бесил его, доводил до трясучки, до коликов в животе своим независимым и степенным видом, как и столичной гордыней, вальяжностью и высокомерием, скорее даже кажущимся, чем реальными: высокомерным Вадик и во взрослой жизни не был. Но всё равно, проучить его, москвича, сбить с него лоск и спесь, в дерьмо его обмакнуть и измазать стало для Збруева смыслом жизненным, навязчивой маниакальной идеей, которой он подчинился весь – без остатка.

За оставшийся до выпуска год он вознамерился всем доказать, и об этом уже говорилось, что интернат в их жизни и некогда общей судьбе ничего ровным счётом не значил, что был он простой случайностью или курьёзом, от коих не застрахован никто. Поэтому-то как был, мол, Стеблов до интерната никем, так никем и остался; а он-де, Сашка, по-прежнему силён и умён, по-прежнему талантлив и грамотен; он-де по праву считался всегда и является до сих пор первым математиком школы, до уровня которого не дотягивает никто, как бы кто ни старался.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.